

И Э Н

БЭНКС

МОСТ

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

ИЭН БЭНКС

**Мост**

«ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ»

1986

УДК 821.111-312.9  
ББК 84(4Вел)-44

**Бэнкс И. М.**

Мост / И. М. Бэнкс — «Издательство АСТ»,  
1986 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-121714-3

Кома запирает пациента больницы внутри причудливых сновидений, претворяющихся в новые жизни – жизнь неотесанного Варвара в причудливой сказке, жизнь на Мосту – гигантском строении, вмещающем тысячи странных событий и фантастических созданий. Можно ли выбраться из этих призрачных не-жизней? Можно. Превращаясь и превращая, снимая с себя слой за слоем прежние иллюзии и надежды, обретая единственно верные человеческие черты...

УДК 821.111-312.9  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-121714-3

© Бэнкс И. М., 1986  
© Издательство АСТ, 1986

## Содержание

Кома	6
Метаформоз	8
Глава первая	8
Глава вторая	23
Глава третья	35
Глава четвертая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# Иэн Бэнкс

## Мост

**Iain Banks**  
**THE BRIDGE**

© Iain Banks, 1986

© Перевод. Г. Корчагин, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

\* \* \*

*Посвящается Джеймсу Хейлу*

## Кома

В капкане. Раздавлен. Переплетен с обломками (с машиной следует сродниться), тяжесть давит со всех сторон. Только не надо огня! Ради бога, не надо огня! Блин! Вот тут болит. Чертов мост... Сам виноват, сам свалил дурака (да, мост, будь он проклят, он цвета крови; видишь мост, видишь, как человек гонит машину, видишь, что он не видит другой автомобиль, видишь офигенно здоровенный ТРАХ-ТАРАРАХ, видишь, как истекает кровью водитель с переломанными костями; кровью цвета моста. Да, сам виноват. Идиот!). Только бы не загорелось! Кроваво-красный цвет. Кроваво-красный мост. Видишь, как человек обливается кровью, как протекает машина. Красный радиатор, красная кровь. Кровь – точно красное масло. А насос все качает... блин! Говорю: «Блин, до чего же больно!» Насос качает, но жидкость бежит куда не надо, протекает всюду, заливает все кругом. Может, сейчас еще и в зад въедут, и поделом, но хоть огня пока нет, и на том спасибо. Интересно, сколько... сколько уже прошло? Машины. Полицейские машины (бутерброды с джемом). Бутерброд с джемом. Ты джем, а машина хлеб. Вместе – бутерброд с джемом. Видишь, как человек истекает кровью. Сам виноват. Молись, чтобы никто другой не пострадал (нет, не молись, ты же атеист, помнишь, всегда сквернословил, всегда клялся, что атеистом останешься и в окопе под огнем, что ж, приятель, настал твой час, ты сочишься на розовато-серую дорогу, и в любой момент может вспыхнуть, или вдруг и так травма несовместимая с жизнью, а еще другая машина может въехать в зад, если еще кто-нибудь заглядится на этот чертов мост, так что коли все-таки надумаешь молиться, то сейчас для этого самое подходящее время, только, блин, япона мать, ДОЧЕГОЖЕБОЛЬНОГОС-ПОДИ! короче: ну ты, господи, и мерзавец). Сказано в точку, малыш. А что это за буквы? «MG» и «VS». И я: «233 FS»? А как насчет?.. Где?.. Кто?.. Блин, собственное имя забыл. Так уже было однажды, на вечеринке: надрался, напирялся и слишком резко встал, но сейчас все по-другому. (И почему это я помню, как в тот раз память отшибло, а сейчас имени своего вспомнить не могу? А дело-то, похоже, серьезное. Не нравится мне все это. Надо отсюда сваливать поскорее.)

Я вижу обрыв в джунглях, увитый лианами мост и реку внизу. Появляется огромный белый кот (я?), прыжками несется по тропе, заскакивает на мост. Ягуар-альбинос (я?) по качающемуся мосту (что я вижу? где это? вот так оно было на самом деле?) летит длинными красивыми скачками, белая смерть (ей бы черной быть, но я, ха-ха, известный негативист) стремится пересечь мост...

Стоп машина. Сцена бледнеет, в ней появляются дыры, прогорает пленка (огонь?!), застряла, изображение плавится, видимость разрушается (видишь, как видимость разрушается?); ничто не выдерживает столь пристального внимания. Остается лишь белый экран.

Боль. В груди – кольцо боли. Как тавро, как круглый отпечаток (я – фигурка на протемпелеванной марке? клочок пергамента с надписью: «Из книг.....»). [Прошу закончить, выбрав из списка:

- а) Господа Бога, эсквайра
- б) Природы (миссис)
- в) Ч. Дарвина и сыновей
- г) К. Маркса, Ltd.
- д) Всех вышеперечисленных.]).

Больно. Белый шум, белая боль. Сначала – тяжесть со всех сторон, теперь – боль. Бесконечное разнообразие жизни. Я движусь. Экий мобильный. Меня что, вырезали из обломков? Или вспыхнуло пламя? Может, я просто умираю, выбеленный, обескровленный? (Сданный, просроченный?) Ничего теперь не вижу (теперь вижу все). Я лежу на равнине, в окружении гор (а может, на койке, в окружении... медицинских аппаратов? людей? и тех, и других? (При-

ятель, это одно и то же, если взглянуть шире. Во загнул.) А кому какое дело? Мне-то самому есть дело? Блин! Может, я уже труп! Может, это жизнь после жизни... гм... А что, если все остальное было сном (ну да, точно) и я сейчас проснусь и окажусь («Темнаястанция») ... это еще что?

Вы слышали? Я-то слышал?

*Темная станция.* Ну вот, опять. Звук, похожий на паровозный свисток. Что-то куда-то отправляется. Что-то сейчас начнется или закончится, а может, и начнется, и закончится. Что-то, а именно ТЕМНАЯ СТАНЦИЯ я. Или не я (не могу знать; сам не местный; с меня какой спрос).

*Темная станция.*

Ну ладно, ладно...

# Метаформоз

## Глава первая

Темная станция, безлюдная и заколоченная, эхом вторила свистку уходящего поезда. В вечернем сумраке звук этот казался сырым и холодным, будто бы многое перенял от своей создательницы – струи отработанного пара из котла. Сомкнутые в черный покров деревья впитывали звук, как впитывает влагу плотная ткань; лишь кое-где целостность этого покрова нарушалась: там – скалой, здесь – обрывом, чуть дальше – каменной осыпью; от них-то и возвращались назад слабейшие отголоски.

После того как оборвался свист, я стоял и глядел на сиротливую станцию, не спеша повернуться кругом, к безмолвной карете. Я напрягал слух, тщаь выловить из крутобокой долины хотя бы намек на деловитое пыхтение паровозной трубы, на сосредоточенный перестук поршневых сердец, на досужую трескотню клапанов и ползунов. Однако ни единый звук не тревожил бездвижности воздуха; состав ушел. Черным по пасмурному небу рисовались острые коньки станционной крыши и широкие дымовые трубы. Кое-где над скатами и закопченными кирпичами висели клочки то ли тумана, то ли дыма. Казалось, мою одежду пропитал запах угольной гари, отработанного пара.

Я все-таки повернулся и взглянул на карету. Траурно-черная, она была заперта снаружи, запломбирована и обвязана толстыми кожаными ремнями. В упряжке две кобылы нервно топтали палую листву на уходящей от станции грунтовой дороге, взмахивали головами, пучили глазищи. Позвякивала упряжь, подрагивала карета, из раздувающихся конских ноздрей струями бил пар. Отправление поезда в лошадином исполнении.

Я осмотрел заколоченные окна и запертые двери кареты, подергал тугие ремни и крепкие замки, потом забрался на козлы и взял вожжи. С высоты глянул на тонущую в лесном мраке узкую дорогу. Дотянулся до кнута, но после некоторых колебаний положил его назад – не хотелось нарушать его ударами чарующую тишь долины. Ухватился за деревянный рычаг тормоза. По какому-то загадочному капризу физиологии ладони взмокли, а во рту пересохло. Карету потряхивало – наверное, из-за топтания лошадей.

Небо над головой было скучно, однообразно Серым. Самые высокие горные вершины вокруг меня, прорываясь из лесного покрова, почти сразу вонзались в тусклую облачную рогожу; казалось, их иззубренные пики и острые гребни смешали друг с другом вездесущий цепкий пар и тусклый, не дающий теней свет. Я достал часы. Даже если все пойдет благополучно, вряд ли моя поездка завершится до захода солнца. Я похлопал по карману, где лежали кремь и трут, – не пропаду в потемках. Снова качнулась карета, в упряжке беспокойно шевелились кони: переминались, изгибали гаси, выкатывали глаза с широкими белками.

Больше задерживаться нельзя. Я убрал тормоз и погнал коней рысью. Кренился и скрипел мой экипаж, тяжко погромыхивал на разбитой дороге, нес меня прочь от темной станции, в черный лес.

Дорога шла в гору между деревьями, между полянками, через горбатые деревянные мостики. В лесном сумраке и тиши бурлящие под мостами речушки казались оазисами бледного свечения и хаотического шума.

Чем выше в гору я забирался, тем ощутимей свежел воздух. Слово облаком, я был окутан паром дыхания кобыл и запахом их пота. Мой собственный пот студил мне лоб и руки. Я полез в карман пальто за перчатками; пальцы задели толстую рукоять лежащего в кармане сюртука револьвера. Я надел перчатки, запахнул плотней пальто, а когда затягивал пояс, вспомнил



о ремнях и замках на карете и обернулся. Впрочем, темнота не позволила узнать, на месте ли они.

Редел лес, склон набирал крутизну. Лошади уже с трудом рысили по колеям на дороге; я приближался к нижней поверхности темно-серого покрова; щупальца еле различного облака сплетались друг с другом и вбирали в себя призрачный пар из конских ноздрей. Долина внизу превратилась в черную бесформенную бездну; ни единого проблеска, ни малейшего шевеления, ни тишайшего звука в ее глубинах. И тут, когда я въезжал в облачную пелену, как будто стон донесся из кареты; она резко накренилась – то колесо налетело на торчащий из земли камень. Я уже осознанно нащупал пистолет, убеждая себя, что слышал всего лишь скрип при трении деревянных деталей экипажа. Облако сгущалось. Едва видимые обочь моей жалкой дороги корявые низкорослые деревца напоминали уродливых карликов – часовых какой-нибудь призрачной крепости.

Я остановил лошадей в тумане на сравнительно пологом участке пути. Как только язычки огня выровнялись в фонарях кареты, образовались два световых конуса, и этим слабым лучам едва удалось выхватить из сумрака покрытые потом, нервно вздрагивающие кобыльи головы. Но сосредоточенное шипение фонарей мало-мальски успокаивало, прибодряло меня. Их сияние позволило еще раз, теперь уже как следует, проверить крепеж. Кое-что ослабло – бесспорно, по вине многочисленных ухабов и камней на дороге. Управившись с этим делом, я снова развернул фонари вперед. Рассеянные лучи упирались в туман, словно тени на фотонегативе, тая больше, чем раскрывая.

Карета то выныривала из облака, то снова в него окуналась, а дорога, хотя постепенно сглаживалась и делалась прямее, все меньше походила на дорогу. Она вела к узкому проходу между скалами; туман мало-помалу становился жиже. Справа и слева от меня фонари зашипели вроде бы поровнее, поднабрались яркости их лучи. Я приближался к седловине – верхнему участку перевала; я знал, что за ним лежит небольшое плато.

Последние жгутики тумана скользнули по блестящим конским бокам, по опоясанной ремнями карете – словно гигантское привидение тщилося удержать меня своими бесплотными пальцами. А наверху сияли звезды.

Кругом вонзались в ночную мглу серые вершины, иззубренные и чуждые. Ограниченное утесами плато в ярком звездном свете тоже было серым, как сталь; от камней у кареты, справа и слева, стелились плотные тени, порожденные лучами фонарей. Дальше – сливались в океан облака и призрачные волны омывали каменные архипелаги. Оглянувшись, я увидел горные пики с противоположной стороны покинутой нами долины, а едва снова устремил взгляд вперед, заметил огни приближающейся кареты.

Своим невольным содроганием я испугал коней, они заржали и попятись. Я тотчас заработал вожжами, погнал лошадей вперед, коря себя за нервозность и пытаюсь в меру сил успокоить свое трусоватое сердце. Далекая карета была, как и моя, оснащена двумя фонарями; она пока еще находилась на противоположном краю окаймленной скалами седловины.

Я затолкал револьвер глубже во внутренний карман и, взмахнув вожжами, послал тяжело дышащих кобыл медленной рысью; даже на ровной дороге им это давалось очень и очень нелегко. Встречные подрагивающие огни – две чуть-чуть не долетевшие до земли звезды – теперь приближались заметно быстрее.

Близ центра плато, посреди россыпи валунов, кареты сбавили ход. Здесь ширины дороги хватало только для одного экипажа, торившим ее людям пришлось перенести уйму больших и малых камней на обочины. Впрочем, была оборудована небольшая овальная площадка, чтобы могли разъехаться встречные повозки. И площадка эта лежала как раз на полпути между моей и чужой каретами. Мне уже удалось разглядеть двух белых коней, и, хотя мешало сияние фона-

рей, я видел смутный силуэт восседающего на козлах человека. Я придержал кобыл, чтобы оказаться на площадке одновременно со встречным экипажем. Другой возница словно прочитал мои мысли – он тоже замедлил шаг своих коней.

Именно в этот миг и охватила меня странная, необъяснимая робость. Внезапно по телу прошла сильная дрожь, словно от удара электрическим током или как будто невидимая и бесшумная молния поразила меня с небес. Кареты достигли противоположных краев площадки. Я принял вправо, а встречный экипаж двинулся влево, и упряжки преградили друг другу путь. Кони остановились, не дожидаясь команды от своих возниц. Я зацокал и натянул вожжи, дал задний ход; так же поступил и незнакомец. Я замахал рукой темному силуэту, давая понять, что на этот раз двинусь влево, освобождая ему справа проезд; он махнул одновременно со мной. Карсты стояли. По жестам возницы я не мог определить, понял ли он меня, и все же решил рискнуть. Я увлек своих взмысленных лошадей влево, и снова другая карета двинулась так, словно ее владелец вознамерился не пропустить меня, причем двинулся одновременно со мной; казалось, мы действуем совершенно одинаково.

Мне осталось лишь признать свое поражение. Две пары лошадей стояли друг против друга посреди участка ровной земли, освещенного четырьмя фонарями и заполненного паром конского дыхания. Я решил на этот раз не трогаться с места, а дожидаться, когда проедет встречный экипаж.

Но и чужая карета оставалась совершенно неподвижной. Меня охватила растерянность, все тело невольно напряглось. Я поддался искушению встать, прикрыть глаза ладонью от света потрескивающих фонарей и взглянуть в возницу, который точно так же рассматривал меня с другого конца этого непреодолимого, по какой-то загадочной причине, отрезка пути. Да, незнакомец тоже поднялся на ноги, словно был не живым человеком, а моим отражением в зеркале; готов поклясться, что и он поднес ладонь к глазам.

Я обмер. В груди заколотилось сердце, а руки сделались липкими; даже лайковые перчатки не скрадывали этого ощущения. Я кашлянул, прочищая горло, и воззвал к незнакомцу: – Сэр! Если угодно, проезжайте... – И осекся.

Другой возница заговорил – и умолк – одновременно со мной. Голос его не был эхом моего, он произнес не те же слова, что и я. У меня даже не было уверенности, что я слышал родной язык. Но тон был как две капли воды похож на мой – тут я бы голову дал на отсечение. Меня объял гнев, я что есть сил замахал вправо, а незнакомец, столь же энергично, – влево.

– Направо! – выкрикнул я и услышал его возглас.

Несколько мгновений я оставался в неподвижности; я не мог обманывать себя, будто дрожь, пробегающая по телу, – обыкновенная реакция на температуру воздуха. И не только для того я поспешил сесть, чтобы поехать выбранным курсом, – обмякли ноги, и ослабшему от страха телу понадобилась другая опора. Не глядя прямо на недруга (а как еще назвать человека, явно вознамерившегося не давать тебе проезда?), я поднял кнут и защелкал им над кобылами, заставляя их принять влево. Я не услышал щелканья другого бича, но чужие кони, подобно моим, вздыбились, а затем двинулись вправо; несколько секунд упряжки неслись навстречу, затем обе пары коней снова поднялись на дыбы, звеня сбруей, брыкая передними ногами, мотая головами. Не столкнулись лошади просто чудом. Я с криком поднялся и заработал кнутом, потянул на себя вожжи, что было сил пытаясь объехать чужую карету. Снова напрасно – казалось, встречный экипаж повторял каждое движение моего.

Наконец я заставил перепуганных лошадей попятиться; белые кони напротив, ничуть не менее возбужденные, поступили точно так же. У меня дрожали руки, на лбу выступил холодный пот. Я изо всех сил напрягал глаза, но разглядеть загадочного противника не удавалось – сияние его фонарей показывало лишь нечеткие контуры фигуры, а лицо оставалось неразличимым пятном.

Но я был уверен, что передо мной не зеркало (хотя, при всей своей абсурдности, это объяснение было тогда предпочтительней любого другого), и, кроме того, чужие лошади были белыми, тогда как запряженная в мою карету пара – темной. Что же дальше? Другого пути здесь нет, убранные с дороги камни навалены на обочинах сплошной, в половину человеческого роста, стеной. Если и найдется проем, достаточно широкий для кареты, по валунам далеко не уедешь.

Я положил кнут и спустился на каменистую дорогу. Точно так же поступил и другой возница, и при виде этого меня снова сковало необъяснимое оцепенение. Почти невольно я обернулся и взглянул мимо запертой кареты на дорогу за краем площадки. Вернуться тем же путем? Это казалось невыносимым. Даже будь у меня обыкновенная, вполне земная задача, даже будь я заурядным путником, намеренным лишь достичь отдаленной гостиницы или некоего городка за перевалом, я бы вряд ли захотел повернуть обратно. От самой станции и до этой седловины мне не попало ни одной тропки, ответвлявшейся от моей дороги. И я не слышал, чтобы где-нибудь в пределах дня езды был другой перевал. А если еще учесть, что за груз у меня и сколь срочно я должен его доставить... Иными словами, ничего не остается, кроме как ехать дальше своим путем. Я плотнее запахнул ворот – только для того, чтобы незаметно прижать к груди спрятанный револьвер. Ободрив себя таким образом и попытавшись собрать в кулак всю волю, все здравомыслие, я едва не упустил из виду, что человек в сиянии своих огней повторяет мои движения. Он, прежде чем зашагать вперед, тоже поднял воротник пальто.

Одежда на незнакомце была похожа на мою, а впрочем, любое другое облачение в столь прохладную погоду грозило бы воспалением легких. Пожалуй, пальто у него было чуть подлинней моего. Сам он был немного плотней, чем я, совсем немного. Я поравнялся с беспокойно дергающимися головами моих лошадей – а он со своими. Наверное, еще ни разу в жизни мое сердце не билось так сильно, так часто. Меня охватил незнакомый страх, он подталкивал навстречу этой по-прежнему неразличимой фигуре. Словно мощнейшее магнитное поле, до сих пор не позволявшее нашим каретам столкнуться или миновать друг друга, теперь поменяло полюса. Неведомая сила заставляла меня шагать вперед, к тому, чего я так боялся или должен был бояться. Вот так же некоторых людей необъяснимо влечет бездна, на краю которой они стоят.

Он замер. И я замер. И тут на меня нахлынуло облегчение, я пережил миг невыразимой радости, увидев, что у этого человека – не мое лицо. Оно было квадратным, глаза посажены близко друг к другу и глубоко, а на верхней губе чернели усы. Он глядел на меня, стоя в лучах моих фонарей, как я стоял в его свете; он изучал мое лицо, вероятно, с таким же интересом и облегчением, какие чувствовал я. Я было заговорил, но дальше слов «с кем имею честь?» дело не зашло. Рот незнакомца исторг звуки в то же мгновение, что и мой. Это было какое-то слово или короткое предложение, по всей видимости адресованное мне, как и мои слова предназначались ему. Да, теперь уже я не сомневался, что он говорит на иностранном языке. Но что это за язык, мне пока не удалось определить. Я ждал, когда незнакомец снова заговорит, но он молчал, – видимо, изучал мое лицо.

Мы одновременно качнули головами.

– Это сон, – тихо произнес я, в то время как он бормотал что-то свое. – Этого не может быть, – продолжал я. – Это невозможно! Я сплю, и ты – порождение моего разума.

Мы оба разом замолчали.

Я взглянул на его карету, а он посмотрел на мою. Внешне его экипаж мало отличался от моего. Был ли тот обвешан ремнями, заперт и опломбирован, я не мог судить, равно как и о том, так ли важно его содержимое, как и мой груз.

Внезапно я шагнул вбок, и незнакомец двинулся в то же мгновение, как будто хотел преградить мне путь. Мы отступили друг от друга. Я уже чувствовал его запах, какую-то непривычную, резкую парфюмерию, с примесью несвежего запаха иноземной пряности или луко-

вичного растения. У него чуть сморщилось лицо, словно и от меня повеяло чем-то не особо приятным. Отчего-то у него дернулась бровь, я вспомнил о револьвере. В мозгу разыгралась абсурдная сцена, как мы выхватываем оружие и стреляем и пули сталкиваются между нами в воздухе, расплющиваются в идеально круглую монету. Мой несовершенный двойник улыбнулся, точно так же поступил и я. Мы покачали головами. По крайней мере, этот жест не нуждался в переводе, хотя мне пришло в голову, что медленный задумчивый кивок был бы столь же уместен. Мы отступили на шаг и дружно оглядели безмолвную, стылую, дикую местность, как будто в самом этом запустении кто-нибудь из нас мог найти что-то ободряющее, или даже оба.

Я ничего ободряющего не увидел.

Каждый из нас повернулся, подошел к своей карете и забрался на козлы.

Некоторое время смутный силуэт сидящего во мгле за неровным сиянием фонарей человека не шевелился (наверное, в точности как и я). Затем он безнадежно пожал плечами (как и я), ссутулился, одной рукой взял вожжи – стариковским, как мне показалось, движением (а я всему этому подражал, и на меня тоже нахлынули старческая тоска, усталость и тяжесть, а холод – не чета холоду ветра – пронизал все мое тело).

Он осторожно потянул вожжи, заставив коней запрокинуть головы; такой же сигнал и я дал своей упряжке. Мы начали разворачиваться, каждый на своей половине тесного разъезда, подавали свои кареты то вперед, то немного назад и свистели коням.

«Когда мы окажемся вровень, – подумал я, – как боевые корабли сходятся бортами, я выхватываю оружие и выстрелю». Возвращаться я не могу, и если он не уступит дорогу, то буду прорываться с боем, потому что у меня нет выбора.

Наши неуклюжие колесницы медленно маневрировали. Его карета, как и моя, была наглухо заперта и крепко обвязана. Он посмотрел на меня и неторопливо, почти расслабленно, сунул руку за отворот пальто. Точно так же действовал и я – запустил ладонь во внутренний карман сюртука и осторожно потянул револьвер. Снимет ли недруг сейчас перчатку? Мы оба ждали. Наконец он расстегнул перчатку на запястье, как и я, положил ее рядом с собой на сиденье, а затем навел на меня оружие.

На спусковые крючки мы нажали одновременно. Раздались два тихих щелчка, больше ничего.

Мы дружно отщелкнули барабаны. В свете фонаря я увидел, что боек бил по капсюлю – на медной поверхности осталась крошечная вмятина. Либо капсюль бракованный, либо порох отсырел. Такое не редкость.

Незнакомец посмотрел на меня, и улыбки наши были печальны. Оба спрятали револьверы в карманы, затем окончательно развернули кареты и разъехались; я повез свой страшный груз обратно в долину, под облачный покров, а он свой – в другую долину.

– ...И тогда мы разом стреляем, вернее, нажимаем на спуск, и ничего не случается. Оба патрона оказались негодными. Поэтому мы просто... улыбаемся друг другу, с покорностью, наверное, разворачиваем кареты и едем восвояси, – заканчиваю я свой рассказ.

Доктор Джойс глядит на меня поверх золотой оправы очков:

– Это и есть ваш сон?

Я киваю:

– И тут я проснулся.

– И все? – проявляется раздражение в голосе Джойса. – Больше ничего не было?

– На этом сон закончился, – твердо произношу я.

На лице доктора Джойса отчетливо видится недоверие (и вряд ли можно строго судить за это моего лечащего врача, ведь все вышеизложенное – сплошное вранье), он качает головой, и трудно объяснить этот жест чем-либо иным, кроме недовольства.

Мы стоим в центре зала о шести черных стенах, но без мебели. Это теннисный корт, и близится конец гейма. Доктор Джойс – джентльмен лет пятидесяти, в неплохой физической форме, хоть и чуть полноватый, – считает, что лечение можно проводить в любой обстановке. Оба мы умеем махать ракетками, поэтому предпочитаем играть здесь, а не сидеть в его кабинете. В перерывах между розыгрышами очков я рассказываю свои сны.

Доктор Джойс румян и сед. Выбеленные временем кудри, розовое лицо, розовые же, с веснушками и седыми волосками, руки и ноги торчат соответственно из рукавов рубашки и штанин серых шорт. Однако глаза, прячущиеся за очками в золотой оправе и цепочкой, голубые, их взгляд тверд, острый и вовсе не подходит к румяной физиономии. Как будто в шмат сырого мяса на блюде воткнули два осколка синего бутылочного стекла. Он тяжело дышит (в отличие от меня), обильно потеет (а я только в последнем розыгрыше немножко взмок) и смотрит на меня с глубоким подозрением (вполне, как я уже сказал, обоснованным).

– Проснулись? – спрашивает он.

Я стараюсь придать своему тону максимум возмущения:

– Да помилуйте, не могу же я контролировать свои сны!

(Это ложь.)

С глубоким профессиональным вздохом врач подцепляет ракеткой пропущенный им в конце последнего розыгрыша мяч и пристально смотрит на стенку для подачи.

– Ваша подача, Опп, – говорит он кисло.

Моя так моя. Подаю. Теннис – игра для двух игроков. У каждого участника две ракетки: ударная и ведущая. Корт шестиугольный, покрашенный в черное; мячей два, оба розовые. Благодаря сему последнему факту и тяжеловесной разновидности юмора, которая на мосту считается остроумием, теннис прозван «мужской игрой». У доктора Джойса стаж в ней побольше, чем у меня, но мой партнер ниже ростом, больше весит и старше, да и с координацией движений у него похуже. Я играю (по рекомендации физиотерапевта) всего лишь шесть месяцев, но одерживаю верх в последнем розыгрыше, а значит, и в гейме без особого труда, ведя по корту один мяч, пока Джойс неловко возится с другим. И вот доктор стоит, пыхтит и прожигает меня взглядом – воплощенное недовольство.

– Вы уверены, что больше ничего не было? – спрашивает он.

– Вполне, – отвечаю.

Доктор Джойс – толкователь моих снов. Он специализируется на анализе сновидений и верит, что копание в моих кошмарах позволит узнать обо мне больше, чем я сам способен рассказать (у меня амнезия). Он надеется, изучив все добытые с помощью этого метода находки, затем каким-то образом встряхнуть, вернуть к жизни мою уснувшую память. Оп-ля! Один могучий скачок воображения – и я исцелен. Вот уже полгода я честно лезу из кожи вон, пытаюсь ему помочь в этом благородном деле. Беда в том, что обычно мои сны либо слишком сумбурны и их невозможно восстановить в деталях, либо слишком банальны и просто не заслуживают исследования. В последнее время доктор явно теряет терпение, и я, чтобы его не огорчать, придумал сон. Я очень надеялся, что история о запертых каретах даст доктору Джойсу пищу для его желто-серых зубов, но, судя по его кислой физиономии и вызывающему поведению, я дал маху.

– Благодарю за игру, – говорит он.

– Всегда к вашим услугам, – улыбаюсь.

В душевой доктор Джойс бьет меня ниже пояса:

– Опп, как у вас с либидо? Нормально?

Он намыливает брюшко, я декорирую пенными кругами свою грудь.

– Да, доктор. А у вас?

Добрый доктор отворачивается.

– Я задаю этот вопрос исходя из профессиональных соображений, – объясняет он. – Мы, медики, считаем, что на сексуальной почве могут возникнуть кое-какие проблемы. Если вы уверены, что... – Голос замирает, Джойс заходит под струи воды – смыть пену.

Чего хочет добрый доктор? Чтобы я ему рекомендации предоставил?

Вымывшись, переодевшись и заглянув в бар при теннисном клубе, мы на лифте поднимаемся на этаж, где расположена клиника доктора Джойса. В сером костюме и розовом галстуке ему удобней, чем в спортивной форме, но он все равно потеет. А мне в брюках, шелковой рубашке, жилете и сюртуке (правда, сейчас перекинутом через руку) свежо и прохладно. Гудит на подъеме лифт – класса «люкс»: кожаные сиденья, растения в горшках. Доктору Джойсу угодно присесть на скамью у стены, рядом с читающим газету лифтером. Врач достает не очень свежий носовой платок и вытирает лоб.

– И что же, по вашему мнению, означает этот сон, Опп?

Я гляжу на чтеца-лифтера. В кабине, кроме нас троих, никого нет, но, на мой взгляд, для столь приватной беседы даже присутствие обслуживающего персонала – серьезная помеха. Не случайно же мы направляемся в клинику. Я рассматриваю деревянные панели, кожаную обивку и маловпечатляющие маринистские эстампы. И прихожу к выводу, что мне больше по вкусу лифты с видом на море.

– Не имею представления, – отвечаю.

Вроде помнится, что раньше я думал, будто Джойс и призван раскрыть мне значение моих снов, однако добрый доктор давно развеял это мое заблуждение, и я уже не пытаюсь видеть сны, достаточно насыщенные смыслом для его исследований.

– Но в том-то и дело, что вы должны иметь представление, – устало говорит Джойс.

– Но не хочу вам рассказывать? – предполагаю я.

Доктор Джойс отрицательно качает головой:

– Наверное, просто не можете рассказать.

– Зачем же спрашиваете?

Лифт тормозит и останавливается. Клиника расположена примерно в середине верхней половины моста, на равном удалении от вечно окутанного паром железнодорожного яруса и одной из часто затягиваемых облаками верхушек грандиозного сооружения. Доктор Джойс – человек весьма влиятельный, поэтому его кабинеты находятся в пристройке на боку основной конструкции. Насколько мне известно, такие помещения с видом на море столь же популярны, сколь и дефицитны. Мы ждем, когда отворится дверь.

– Опп, вы должны спросить себя, – говорит доктор Джойс, – что означают подобные сны в связи с мостом.

– С мостом? – гляжу на врача.

– Да, – кивает он.

– Чего-то я недопонял, – возражаю. – Ума не приложу, какая может быть связь между мостом и снами вашего покорного слуги.

Врач снова пожимает плечами.

– Быть может, сон – это мост, – рассуждает он, пока разъезжаются створки двери кабины. Вынимает из кармана пропуск, демонстрирует лифтеру. – А быть может, мост – это сон.

(Очень ценная информация, ничего не скажешь.) Я показываю лифтеру больничный браслет-пропуск и иду за добрым доктором по широкому, устланному коврами коридору.

Браслет на моем правом запястье представляет собой пластмассовую полоску. В нее заделано какое-то электронное устройство, хранящее мое имя и адрес. Также оно излагает кому следует мой диагноз, показанную терапию и имя лечащего врача. На полоске отпечатано мое имя: «Джон Опп». Вообще-то, имя не настоящее, мне его дала администрация больницы, когда я туда попал. «Джон» – потому что это распространенное и безобидное слово. Почему «Опп»?

Когда меня выловили из бурлящих вокруг исполинского гранитного быка вод, на груди увидели большую багровую ссадину, почти идеальную окружность, впечатавшуюся в мою плоть (и кость – у меня было сломано шесть ребер). Опп – первое слово на «О», пришедшее в голову моей сиделке. По традиции имена найденышам-несмышленишам дают медсестры, а при мне не обнаружили никакого удостоверения личности, да и сам я не помнил, как меня зовут.

Надо добавить, что у меня все еще побаливает иногда грудь, как будто удивительная фигурная отметина сохранилась во всей своей красе. И уж конечно, на голове остались следы страшных ударов, из-за которых я потерял память. Доктор Джойс склонен и боль в моей груди списывать на ту же травму, что явилась причиной амнезии. По его мнению, в моей неспособности вспомнить прошлое лишь отчасти виноваты ушибы головы. Возможно, я вдобавок пережил какой-то психологический шок, а следовательно, разгадку амнезии надо искать в моих сновидениях. Собственно говоря, потому-то он и взялся меня лечить. Я – интересный случай, вызов его профессионализму. Он раскопает мое прошлое, и не важно, сколько времени займет эта работа.

В прихожей клиники мы встречаем симпатичного молодого человека, секретаря доктора. Этаким живчик и весельчак, не лезет в карман за шуточкой-прибауткой, всегда готов предложить чайку-кофейку или помочь посетителю снять-надеть пальто. Его мордашка не знает мрачности и уныния, раздражения и досады, и любые слова пациентов Джойса он воспринимает с искренним любопытством. Он строен, хорошо одет, прилизан; запах его одеколона приятен, но ненавязчив; прическа аккуратна и изящна и притом не кажется искусственной. Следует ли добавлять, что все мои знакомые из числа пациентов доктора Джойса откровенно презирают этого типа?

– Доктор! – восклицает секретарь. – Как я рад снова вас видеть! Надеюсь, игра доставила вам удовольствие?

– Да, да, – без особого энтузиазма отвечает врач, оглядывая приемную. Кроме секретаря здесь лишь двое людей: полицейский и некий тощий настороженный субъект с густейшей перхотью на голове. Он сидит с закрытыми глазами в одном из полудюжины кресел. Полицейский устроился на его плечах и прихлебывает кофе. Доктор Джойс не устаивает эту мизансцену повторного взгляда. – Мне звонили? – обращается он к Молодому-Да-Раннему, а тот встает и низко кланяется, сложив ладони домиком.

– Ничего срочного, сэр. Я все зафиксировал в хронологическом порядке, список у вас на столе; в левой колонке – нумерация по ориентировочному порядку приоритетности касательно ответов. Чашечку чая, доктор Джойс? Или, может быть, кофе?

– Нет, спасибо, – отмахивается Джойс от Молодого-Да-Раннего и скрывается в своем кабинете.

Я отдаю МДР свой сюртук, и МДР говорит:

– Доброе утро, мистер Опп! Можно, я возьму ваш?.. О, благодарю! Надеюсь, игра доставила вам удовольствие, мистер Опп?

– Нет.

Полицейский все так же сидит на плечах тощего субъекта и глядит в стенку, на его лице не то угрюмость, не то смущение.

– О господи! – Физиономия юного секретаря изображает последнюю степень отчаяния. – Как досадно это слышать, мистер Опп! Может быть, вас взбодрит чашечка кофе или чая?

– Нет, спасибо.

Я спешу вслед за врачом в кабинет. Доктор Джойс разглядывает список звонков, лежащий под пресс-папье на его внушительном столе.

– Доктор, – говорю, – почему в вашей приемной полицейский сидит на человеке верхом? Врач смотрит на только что притворенную мной дверь.

– А-а... – произносит он, снова обращая взор на машинописный текст. – Это мистер Беркли. У него нетипичная мания, он считает себя предметом мебели. – Врач хмурится, стучит пальцем по какой-то строчке.

Я сажусь на пустой стул:

– В самом деле?

– Да. Причем каждый день он воображает себя чем-нибудь новым. Мы приставляем к нему охранников с наказом потакать его бредням, насколько это возможно.

– Вот оно что... А я-то подумал, это какая-то театральная труппа из радикалов-минималистов. Как я догадываюсь, нынче мистер Беркли возомнил себя креслом?

Доктор Джойс супится:

– Опп, не говорите ерунды. Вы же не поставите одно кресло на другое, верно? Очевидно, он себя считает подушкой.

– Ну конечно, – киваю. – Но почему – полицейский?

– С мистером Беркли бывают проблемы – он то и дело входит в образ биде в дамском туалете. Обычно он не так чтобы буен, но... – Доктор Джойс секунду-другую рассеянно глядит в пастельно-розовый потолок, ищет нужное слово, наконец изрекает: – Упорен. – И опять смотрит в список.

Я откидываюсь на спинку стула. В кабинете доктора Джойса пол из тикового дерева, по нему абы как разбросаны ковры – сложной расцветки, с банальными абстрактными рисунками. Под стать импозантному столу – картотечный шкаф и парочка набитых томаами книжных полок, а еще есть низкий столик и вокруг него – изысканно безликие стулья, на одном из которых сижу я. Половину стены кабинета занимает окно, но вид наружу закрыт полупрозрачными вертикальными жалюзи. Они сияют в лучах утреннего солнца; другого освещения в кабинете сейчас нет.

Доктор сминает в комок лист с аккуратно напечатанным текстом и бросает в мусорную корзину. Выезжает на кресле из-за стола, останавливается передо мной, берет со стола блокнот и кладет на колено, потом достает из нагрудного кармана пиджака маленький автоматический карандаш.

– Итак, Опп, на чем мы с вами остановились?

– Кажется, последняя конструктивная идея из ваших уст – насчет того, что мост может быть сном.

У доктора Джорджа опускаются уголки рта.

– А чем докажете, что мост не сон?

– А чем докажете, что все это не сон?

Доктор откидывается на спинку кресла, на лице – понимающее выражение.

– Вот именно.

– Ладно, доктор, так чем докажете, что это не сон? – улыбаюсь я. Врач пожимает плечами.

– Спрашивать меня об этом бессмысленно, ведь я – из сна. – Он наклоняется вперед. Я поступаю точно так же, мы едва не сталкиваемся носами. – Что означает запертая карета? – произносит он.

– Надо полагать, я чего-то боюсь, – рычу в ответ.

– И чего же вы боитесь? – шипит в упор Джойс.

– Сдаюсь. Скажите вы.

Еще несколько секунд мы играем в гляделки. Победа в итоге за мной. Доктор выпрямляет спину и выдыхает с таким присвистом, что я даже недоумеваю: может, кресло под ним надувное и в кожаном обшивке образовалась дырка? Он что-то записывает в блокнот и деловито спрашивает:

– Как идет ваше расследование?

Я чую подвох. Щурюсь:



– О чем это вы?

– Пока вы находились в больнице, да и после выписки, до недавнего времени вы держали меня в курсе. Говорили, что выясняете насчет моста. Тогда вам это казалось исключительно важным.

Я снова откидываюсь в кресле:

– Да, я пытался кое-что выяснить.

– Но потом опустили руки, – кивает доктор, записывая.

– Я пытался. Писал во все конторы, бюро, департаменты, библиотеки, институты и газеты подряд. Ночи напролет переводил чернила, неделями просиживал в прихожих, приемных и коридорах. Кончилось все это писчим спазмом, жуткой простудой и вызовом в Комиссию по (пере) расходу прожиточных средств амбулаторными пациентами – там не могли поверить, что я вбухал столько денег в переписку.

– И что вы обнаружили? – забавляется доктор Джойс.

– Пытаться узнать что-то стоящее абсолютно бессмысленно.

– И что же вы считаете стоящим?

– Где находится мост? Что с чем соединяет? Сколько лет назад построен? И так далее.

– Неужели ваши поиски оказались совершенно неудачны?

– Сомневаюсь, чтобы удача имела ко всему этому какое-то отношение. Похоже, просто никого ничего не волнует. Мои письма исчезали без следа, или возвращались нераспечатанными, или сопровождались ответами на неизвестных мне языках. Более того, их не могли прочесть и все, к кому я обращался.

– Хорошо, хорошо, – машет ладонью врач. – У вас проблема с языками, не правда ли?

Да, у меня проблема с языками. В любой секции моста разных языков – до дюжины: специальные жаргоны, созданные разными гильдиями много лет назад, измененные и развитые с тех пор до такой степени, что совершенно непонятны посторонним. Сейчас уже никто не возьмется сказать, когда и при каких обстоятельствах они зародились. Как выяснилось по моем выходе из комы, я говорил на языке персонала и администрации – это официальный, государственный язык моста. Но все остальные, кого ни возьми, знают еще как минимум один язык, обычно связанный с их профессией или общественным статусом; я же этой способности лишен. Когда я выхожу на кишашие народом главные улицы, добрая половина разговоров для моих ушей звучит сущей абракадаброй. Меня такая языковая избыточность лишь немного раздражает, а вот тяжелым параноикам из числа пациентов доктора Джойса на этой почве наверняка должны мерещиться заговоры.

– Да, но дело не только в этом. Я искал сведения о постройке, об исходном предназначении моста. Искал старые книги, газеты, журналы, звукозаписи и фильмы. Искал информацию о том, что находится за пределами моста или было здесь до его появления. И ничего не нашел. Все исчезло. То ли потеряно, то ли украдено, то ли уничтожено, а может, просто какой-нибудь бардак с каталогами. Вы, кстати, в курсе, что только в этой секции ухитрились потерять целую библиотеку? Потерять! Библиотеку! Ничего, а? Как это вообще можно – целую библиотеку потерять?

Доктор Джойс пожимает плечами.

– Читатели иногда теряют библиотечные книги... – успокаивающе начинает он, но я возмущенно перебиваю:

– Да господи боже ты мой! Целую библиотеку! Целую библиотеку! А в ней книг были десятки тысяч, я узнавал. Настоящих книг! И подшивок журналов, и документов, и карт, и... – Я ловлю себя на том, что начинаю волноваться. – Третья городская архивно-историческая библиотека потеряна, и, судя по всему, потеряна безвозвратно. Она зарегистрирована в этой секции моста, она упоминается тысячи раз, и не счесть ссылок на хранившиеся в ней книги и документы, и есть даже свидетельства посещавших ее людей. Но никто ее не может найти.

Никто даже не знает о ней ничего, кроме этих ссылок. Похоже, искать не очень-то и старались. Вы что думаете, доктор, какие-нибудь библиотекари там или библиофилы позаботились снарядить поисковую экспедицию? Черта с два! Я вас прошу, позвоните мне, если наткнетесь на любые сведения о Третьей городской. – Я откидываю голову на спинку кресла и складываю руки на груди, а врач знай себе строчит карандашом в блокноте.

– Вам кажется, что информацию, которую вы ищете, скрывают от вас намеренно? – Он вопросительно поднимает бровь.

– По крайней мере, будь дело так, моя борьба имела бы какой-то смысл. Нет, доктор, я не считаю, что здесь кроется чей-то злой умысел. Скорей неразбериха и некомпетентность, апатия и бестолковщина. Борьбаться тут бесполезно, это все равно что месить кулаками туман.

– Ну хорошо, – натянуто улыбается врач; его глаза точно посиневший от старости лед. – Так что же вы обнаружили? И на чем остановились, где сдались?

Я отвечаю:

– Доктор, я обнаружил, что мост очень велик. Он чрезвычайно высокий и длинный, уходит за горизонт в обоих направлениях. Я залез на радиобашенку на верхнем ярусе и насчитал пару дюжин таких же красных шпилей в обеих туманных далях: и по направлению к Городу, и по направлению к Королевству. (Ни того ни другого я оттуда не увидел. Я вообще не видел суши с тех пор, как меня прибило волнами к мосту, если не считать островков, на которых зиждется каждая третья опора.) Его высота – минимум полторы тысячи футов. В каждой секции живет шесть или семь тысяч человек, и, возможно, вместительная способность моста этим не ограничивается. Думаю, его костяк строился с тем расчетом, чтобы выдержать и большую плотность населения.

Форма? Возьмусь описать мост с помощью букв. В поперечном разрезе, в самой широкой части, он здорово смахивает на букву «А», причем перекаладина – это железнодорожный ярус. В вертикальной проекции центральная часть каждой секции – это буква «Н», поставленная на «Х». В обе стороны от центра друг за другом отходят еще шесть «Х», постепенно уменьшаясь в размерах, пока не встречаются с узкими межопорными пролетами, каждый из которых имеет девять собственных маленьких «Х». Пролеты соединяют друг с другом концы больших «Х» и завершают черновую форму нашей конструкции. Алле-оп! Вот вам и мост!

– И все? – недоуменно моргает доктор Джойс. – Он очень велик – и все?

– Все, что мне было нужно узнать.

– Потому вы и сдались?

– Иначе это переросло бы в манию. Теперь же я собираюсь просто жить в свое удовольствие. У меня очень недурственная квартира, вполне приличное денежное пособие от больницы, и я его трачу, как мне заблагорассудится: покупаю красивые вещи, посещаю картинные галереи, хожу в театр, концертный зал и кино, читаю. У меня есть приятели, в основном инженеры, я понемножку занимаюсь спортом, как вы могли уже заметить; надеюсь, что меня примут в яхт-клуб... Скучать не приходится. Не могу сказать, что это отказ от борьбы. Просто я сейчас здесь, с вами, и отлично провожу время.

Доктор Джойс на удивление резко встает, бросает блокнот на стол и расхаживает взад-вперед между перегруженными книжными полками и светящимися жалюзи. Он хрустит суставами пальцев. Я рассматриваю свои ногти. Он качает головой:

– Опп, мне кажется, что вы относитесь ко всему этому недостаточно серьезно. – Он подходит к окну, поворачивает жалюзи, открывая ясный солнечный день: голубое небо, белые облака. – Подойдите.

Со вздохом и улыбочкой, означающей: «ну если вам так уж хочется», я иду к доброму доктору.

Впереди, почти в тысяче футов внизу, море. Сейчас оно синее, в барашках. Видны крапинки редких яхт и рыбацких суденышек, кружат чайки. Но доктор показывает в сторону. Одна из стен его кабинета – стеклянная, и через нее виден бок моста.

Клиника Джойса находится в больничном комплексе, который горделиво возвышается над основной конструкцией и смахивает на энергично растущую опухоль. Отсюда, под таким острым углом, элегантная грация моста несколько размыта, он кажется загроможденным и чересчур массивным.

Его покатые ребристые красновато-коричневые бока вздымаются от гранитных цоколей, до которых почти тысяча футов. Эти плитчатые опоры увешаны, усыпаны гроздьями атрибутов вторичной и третичной архитектуры: крытыми переходами и шахтами лифтов, дымовыми трубами и порталами кранов, кабелями и трубопроводами, антеннами, вымпелами и флагами всевозможных форм, размеров и расцветок. Пристройки есть и большие, и маленькие: офисы, служебные и жилые помещения, мастерские, магазины – все они лепятся угловатыми ракушками из металла, стекла и дерева к исполинским трубам и переплетающимся балкам, все они выступают, вылезают, выпирают из первоначальных элементов моста, как нежные внутренние органы – через бесчисленные грыжевые ворота.

– Что вы видите? – спрашивает доктор Джойс.

Я вглядываюсь, как будто стою перед какой-нибудь знаменитой картиной и мне предложили полюбоваться тончайшей работой кисти.

– Доктор, – отвечаю, – я вижу офигенно здоровенный мостище.

Доктор Джойс резко дергает за шнур, обрывает его наверху; жалюзи остаются незакрытыми. Он судорожно всасывает воздух, возвращается за стол, усаживается и царапает в блокноте. Я подхожу к нему.

– Видите ли, Опп, – говорит он, строча карандашом, – ваша проблема в том, что вы слишком многое принимаете на веру.

– В самом деле? – невинным тоном откликаюсь я. Интересно, что это – профессиональное мнение или сугубо частная попытка задеть мое самолюбие?

За окном медленно появляется люлька мойщика окон. Доктор Джойс не замечает. Человек в люльке стучит по стеклу.

– Доктор, кажется, пришла пора мыть ваши окна, – говорю я.

Врач оглядывается; мойщик поочередно стучит по оконному стеклу и по своим ручным часам. Джойс мотает головой и снова утыкается взглядом в блокнот.

– Нет, это мистер Джонсон, – объясняет он. Человек в люльке прижимается к стеклу носом.

– Тоже пациент?

– Да.

– Позвольте-ка самому догадаться... Он себя мнит мойщиком стекол.

– Он и есть мойщик стекол, причем отменный. Просто он не желает возвращаться в клинику, уже пять лет не вылезает из люльки. Власти начинают беспокоиться.

Теперь я взираю на мистера Джонсона с уважением: приятно видеть человека, влюбленного в свою работу. У него ветхая, захламленная люлька, в ней полно бутылок, банок, есть чемоданчик, непромокаемый брезент и на краю – что-то наподобие раскладушки. С другого конца люлька уравновешена разнообразными инструментами для мытья. Мистер Джонсон постукивает по окну Т-образным стеклоочистителем.

– Он к вам заходит или вы к нему выходите? – интересуюсь у эскулапа, приближаясь к окну.

– Ни то ни другое. Говорим через открытое окно. – (Я слышу, как он убирает блокнот в выдвижной ящик. Когда я поворачиваюсь, он уже стоит и смотрит на часы.) – Однако сегодня

он явился рановато. Мне нужно на заседание комиссии. – Врач жестами пытается объяснить это мистеру Джонсону, а тот трясет рукой с часами и подносит их к уху.

– А что с бедным мистером Беркли? Мы тут с вами разговариваем, а он небось так и служит опорой закону.

– Ему тоже придется обождать. – Доктор достает какие-то бумаги из другого ящика и укладывает их в тонкий атташе-кейс.

– Как жаль, что бедный мистер Беркли не считает себя гамаком, – говорю я, а тем временем мистер Джонсон уезжает в люльке прочь с моих глаз. – Тогда они с мистером Джонсоном могли бы зависать тут у вас на пару.

Добрый доктор недовольно кривит рот:

– Увидимся позже, Опп.

– Ну разумеется, доктор. – Я направляюсь к выходу.

– Завтра приходите, если что-нибудь приснится.

– Конечно, конечно. – Я отворяю дверь.

– А знаете что, Опп? – серьезным тоном произносит доктор Джойс, возвращая серебряный автоматический карандаш в нагрудный карман. – Вы слишком легко сдаетесь.

Я обдумываю эти слова, затем киваю:

– Ага, док, тут вы совершенно правы.

В приемной подлиза-секретарь помогает мне надеть сюртук (по которому тем временем успел прогуляться платяной щеткой).

– Итак, мистер Опп, как прошел сегодняшний сеанс? Надеюсь, успешно?

– Еще как успешно! Прогресс налицо. Семимильные шаги к выздоровлению. Полезная беседа, что и говорить.

– О, да это звучит ободряюще!

– Просто словами не передать, до чего ободряюще.

Чтобы спуститься на первый этаж, я вхожу в кабину одного из главных лифтов. В ней, огромной, в окружении толстых ковров, хрустальных люстр, надраенной бронзы и красного дерева, я беру у стойки бара чашечку капучино, удобно сажусь и внимаю струнному квартету, расположившемуся на фоне прозрачной стены медленно опускающейся кабины.

Позади меня, за овальным столом, внутри огороженного шнуром прямоугольника, заседают десятка два бюрократов и их помощников. Они обсуждают сложную проблему, возникшую в ходе совещания, которое, согласно афишке на небольшом стенде у самого края ограждения, посвящено стандартизации контрактных спецификаций при объявлении тендера на оснащение локомотивов каналами скоростной загрузки топливом (угольная пыль, с учетом защиты от случайного возгорания).

Из лифта выхожу на открытую улицу над главным железнодорожным ярусом. Это вымощенный металлом проспект для пешеходов, велосипедистов и рикш, сравнительно прямо пролегающий через основную конструкцию моста и пристройки – кафе, магазины и киоски, понатыканные где попало и загромождающие этот кипучий ярус.

Улица, носящая помпезное название «бульвар Королевы Маргарет», лежит близ внешнего края моста; здания с одной стороны бульвара образуют часть нижней кромки зиккурата вторичной архитектуры, вписанного в исходный каркас. С другой стороны бульвара здания примыкают к главным фермам, и чередующиеся проемы открывают вид на море и небо.

Длинная и узкая улица наводит меня на мысли о старинных городах, где наобум построенные здания упираются друг в друга, нависая над улицами, кишашими людскими толпами. Здешняя картина очень похожа: толчея и мельтешение пешеходов, велосипедистов; этот тянет за собой тележку; тот толкает вперед тачку; эти несут портшез; вон там рикша крутит педали

трехколесного экипажа. И все тараторят на разных языках. А одеты – кто во что горазд: одни – в форменное, другие – в цивильное. И все вместе образуют бурный поток уличного движения, с уймой водоворотов и течений, поперечных, а то и противных основному потоку. Картинка – точно в артерии спятили кровяные тельца.

Я стою снаружи, высоко над улицей, на платформе перед дверью лифта.

Шум суетливой толпы, беспрестанное шипение и лязг, скрежет и топот перекрываются воем клаксонов и гудками поездов с нижнего уровня, напоминающими вопли грешников из механизированной преисподней; то и дело раскатывается глухой гром, и все более ощутимая с каждой секундой вибрация говорит о приближении тяжелого поезда, и вот пробиваются сквозь перекрытия и взмывают над толпой клубы белого пара.

Наверху, где положено быть небу, смутно виднеются вдали мостовые фермы, но обзору препятствуют пар и дым, затмевающие свет, что просачивается между элементами конструкции, сквозь фасеты зараженных человечками офисов и квартир. Фермы вздымаются в головокруголицательную высь и оттуда с величавостью и чопорностью грандиозного кафедрального собора взирают на грубую профанацию – позднейшие пристройки.

Где-то сбоку – нарастающий шум; голоса клаксонов сливаются в немыслимую какофонию. Расступающийся транспортный поток прорезает черная повозка, влекомая юным рикшей. Ну ясно – это везут инженера. Пользоваться рикшами вправе только важные чиновники и курьеры основных гильдий. Просто зажиточным разрешено перемещаться в портшезах. Правда, на самом деле мало кто из них пользуется этой привилегией – лифты и трамваи быстрее носильщиков. Есть еще один вариант: велосипед. Но на мосту все колесное облагается налогом, исключение – только для моноциклов. Нередко случаются аварии.

Опережающие повозку гудки исходят из-под ног ливрейного рикши. У него под каждой подметкой – клаксончик. Люди узнают эти звуки и успевают посторониться.

Я нахожу приют в кафе – надо прикинуть в спокойной обстановке, чем бы заняться после ленча. Можно поплавать – есть весьма недурственный малолюдный бассейн, парой уровней ниже моих апартаментов. А можно позвонить инженеру Бруку, он со товарищи имеет привычку в послеполуденное время играть в карты, если этой компании не удастся придумать занятие поинтересней. Еще вариант: сесть на трамвай и поискать новые картинные галереи – я уже с неделю не покупал картин.

Способов убить время хватает, и один другого лучше; во мне просыпается сладкий зуд предвкушения. Допив кофе с ликером, я выхожу на улицу и снова окунаюсь в деловито-суетливую атмосферу городской жизни.

Возвращаясь в свою секцию моста по внешнему пролету, кидаю из окна трамвая в узкий промежуток между опорами монетку. Это традиция – сбрасывать с моста мелочь, на удачу.

Вот и ночь приблизилась. Вечер удался: я поплавал в бассейне, пообедал в теннисном клубе, прогулялся в гавани. Немного устал, но пока любовался тихо покачивающимися на волнах высокими яхтами, ко мне пришла идея.

Я вытягиваюсь в шезлонге у себя в гостиной и во всех деталях продумываю свой очередной сон для доброго доктора.

Затем подготавливаю письменный стол и направляюсь к вмонтированному в стену против кресла телеэкрану. Когда он включен, мне лучше работается. Большинство передач – барахло, жвачка для безмозглых: идиотские викторины, «мыльные оперы» и тому подобное. Но временами я все равно смотрю их в надежде увидеть что-нибудь снятое не на мосту. Сейчас я нахожу поздний канал, транслирующий телеспектакль, вроде бы из жизни рудокопов на каком-то близлежащем острове. Сбавляю звук до шепота – чтобы и слышно было, и не отвлекало. Сажусь за стол, беру авторучку.

Телевизор вдруг шипит. Я оборачиваюсь. Экран заволело зеленой мутью, динамик издает белый шум. Может, настройка сбилась? Собираюсь выключить, но тут изображение возвращается. Правда, звука нет, даже шипение прекратилось.

Экран показывает мужчину на больничной койке в окружении медтехники. Все – черно-белое и рябое. Я поворачиваю регулятор громкости, но даже на максимуме только едва слышное шипение. Ко рту, носу и руке лежащего подведены шланги, а глаза у него закрыты. Наверное, он жив, хоть и не видно, что дышит. Переключаю каналы – везде та же картина: мужчина, койка, аппаратура.

Камера опускается, показывает кровать, кусок стены и незанятый стульчик возле койки. Такое впечатление, будто пациент дышит на ладан, даже в монохромном изображении видно, что в лице ни кровинки. Тощие кисти лежат на белой простыне совершенно неподвижно, а та рука, что с подведенной к запястью трубкой, почти прозрачна. Лицо худое, в синяках и ссадинах, словно он побывал в хорошей драке. Волосы мышиного цвета; на макушке – заплаткой – лысина. В общем, по виду – серенький, плюгавенький, заурядненький человечешко.

Жаль беднягу. Снова пытаюсь найти что-нибудь в эфире, но каналы точно сговорились показывать только эту грустную сцену. А может, мою антенну замкнуло на камеру мониторинга в какой-то больнице? Завтра позвоню куда следует, пускай чинят. Секунду-другую я еще гляжу на неподвижную, безмолвную сцену и выключаю телевизор.

И возвращаюсь к столу. Надо же наконец сочинить новый сон для дражайшего эскулапа. Какое-то время пишу, но раздражает отсутствие привычного звукового фона, и странное чувство появляется, когда сидишь спиной к выключенному телевизору. С авторучкой и бумагой перебираюсь на постель. Допишу и усну. А если что и на самом деле приснится, утром не вспомню.

Вот что я написал.

## Глава вторая

Весь день мы сражались под топазовым небом, а оно медленно затягивалось облаками, словно дымом наших пушек и бушующих внизу пожаров. Закат окрасил эти облака смертным багрянцем, а под ногами у нас палубы были скользкими от крови. Но все же мы отчаянно сопротивлялись, хоть и мерк свет дня, и таяло наше число, и вот уже осталась четверть от экипажа. Точно щепки, валялись кругом убитые и умирающие; величавые краски и позолота нашего корабля выгорели или закоптились; рухнули мачты, а паруса, совсем еще недавно пышные и гордо выпяченные, как грудь воина-героя, теперь обгорелыми лохмотьями свисали с пеньков, оставшихся от мачт, или покрывали заваленные обломками палубы, где гулял огонь и стонали смертельно раненные. Офицеры наши погибли, шлюпки были разбиты ядрами или изувечены огнем.

Объятый пламенем корабль тонул, и характер его неминуемой кончины зависел лишь от того, что раньше достигнет крюйт-камер – вода или прожорливый огонь. На усеянных крошевом рангоута волнах качалось вражеское судно – и выглядело оно не намного лучше нашего. У противника осталась единственная мачта, и та была надломлена, а одиноко висевший на ней парус был изрешечен ядрами и картечью. Мы изо всех сил пытались лишить врага остатков парусного вооружения, но вышли все скованные попарно цепями ядра и не осталось в живых метких пушкарей. И порох на палубе был на исходе.

Неприятельский корабль повернулся к нам носом и пошел на сближение. Мы подготовили пушки к последнему залпу, а потом взяли кто абордажную саблю, кто пистолет. Раненых приходилось бросать на милость судьбы. На нашем судне не уцелело реев, не к чему было принайтовать канат, чтобы перелететь на нем через чужой фальшборт, и мы собирались прыгать в миг столкновения кораблей. Вражеское судно тоже безмолвствовало, перед ним медленно плыл черный дым его пушек, растекался над тускло-красными волнами. Потом чужой дым смешался с нашим – корабли сблизилась.

И вот соприкоснулись истерзанные крутобокие корпуса. Мы бросились в рукопашную, покидая свою обреченную палубу.

При столкновении неприятель лишился последней мачты. Миг спустя суда разошлись. Как и мы, враги не пустили в ход абордажные крючья и багры. Крича и оступаясь, мы бежали по палубе чужого галеона, а наш корабль медленно относил течением. Оказалось, что нам не с кем сражаться – только мертвецы и умирающие остались на палубе чужого судна. Мы не нашли ни пороха, ни ядер, лишь поднимающуюся в трюмах воду и расползающийся огонь. Мы не нашли шлюпок, лишь обломки и головешки.

Измученные и смирившиеся с судьбой, мы собрались на расколотом, накрененном юте. В дымчатом, мерцающем свете пожара смотрели мы, как растет кровавое, усеянное щепой пространство океана между нами и нашим кораблем.

Мачты его были в огне, паруса дымились. В воде горело его отражение – багровое, перевернутое, призрачное.

Сквозь дым смотрели мы на врагов, а они на нас.

Мои апартаменты расположены почти на самом верху секции, недалеко от угла. В плане секция имеет шестиугольную форму. Есть подозрение, что на этой верхотуре я оказался не случайно – доктор Джойс балует «жемчужины» своей коллекции психов. Комнаты здесь широки и высоки, стены со стороны моря не что иное, как остекленные прогоны моста. С тысячдвухсотфутовой высоты можно смотреть, как тут говорят, «вниз по течению». И даже кое-что разглядеть, если видимость не слишком ограничена серыми тучами – а в них мост утопает частенько.

Когда я здесь поселился, в комнатах было хоть шаром покати. Я сделал косметический ремонт, обзавелся полезной и изящной мебелью, а также скромной, но тщательно подобранной коллекцией небольших картин и статуэток. Среди картин преобладают виды моста и моря. Есть несколько недурных изображений яхт и рыболовецких судов. Скульптура преимущественно фигуративная – рабочие-мостовики, запечатленные в бронзе.

Я совершаю утренний туалет. Одеваюсь неторопливо и продуманно. Гардероб у меня роскошный. Если уж мне позаботились выделить такую уйму добротных костюмов, было бы просто невежливо одеваться абы как. Встречают-то все же по одежке. Не то чтобы она способна многое о тебе сказать, но ты сам способен многое сказать с ее помощью.

Низкоквалифицированная обслуга моста носит форменные спецовки, работягам не надо по утрам ломать голову, что надеть. Но тут и конец моей зависти к их житию-бытию. Поражает, с какой покорностью они приняли свою судьбу и ради верного куска хлеба отказались от каких бы то ни было попыток сделать карьеру. Довольные жизнью винтики, каждый – на своем месте и держится за это место, как краска держится за металл. Впрочем, это их проблемы; я же ни за какие коврижки не согласился бы всю жизнь чистить канализацию или рубить в шахте уголь.

Я расчесываю волосы (черные как смоль и неплохо выующиеся, отчего кажутся пышными), выбираю широкий галстук и карманные часы с подходящей к нему эмалировкой. Недолго люблюсь собой в зеркало: высокий, импозантный, даже аристократичный. Проверяю, ровно ли видны манжеты, хорошо ли сидит жилет, не подвернулся ли воротник и так далее.

Я готов завтракать. Надо бы застелить кровать, да и вчерашнюю одежду стоило бы почистить или, на худой конец, спрятать. Но и это не моя забота – больница присылает уборщиков, те к своим обязанностям относятся серьезно. Осталось только выбрать шляпу... но тут возникает заминка.

Включился телевизор. Защелкал, зашипел. Проходя через гостиную, я сначала думаю, что ошибся, это не телевизор заработал, а протекает вода или газ. Но нет, экран в стене светится. И показывает то же, что и прежде: больничную койку и человека на ней. Немое, статичное, монохромное изображение. Нажимаю выключатель, изображение пропадает. Включаю – больной появляется. Смена каналов ничего не дает. Правда, освещение на этот раз другое, – похоже, в стене позади всей аппаратуры есть окно. Ищу другие детали. Но изображение недостаточно четкое, мне не прочесть на аппаратах надписи. Я даже не понимаю, на каком они языке. Но как это может быть, чтобы телевизор включался сам по себе? Выключаю и слышу доносящийся снаружи монотонный гул.

В окно вижу голубизну – день выдался погожий. Со стороны Королевства появляется группа самолетов – три одинаковых, нескладных на вид одномоторных моноплана. Они летят мимо моста четким строем, столбиком, самый нижний – на одном уровне со мной, средний – на полсотни футов выше, верхний – в полсотне футов над средним. Двигатели гудят, вращающиеся пропеллеры блестят, точно громадные стеклянные диски, а из хвостов вырываются – такое впечатление, будто совершенно беспорядочно, – клочки темного дыма. Эти тучки висят в небе, вытягиваются в какие-то бессмысленные каракули. Длинный прерывистый след похож на дощатый забор; он показывает траекторию самолетов и исчезает в стороне Города.

Это меня и возбуждает, и озадачивает. Еще ни разу с тех пор, как оказался на мосту, я не видел самолетов. Не видел даже летающих лодок, хотя инженеры-мостовики, вне всяких сомнений, способны их строить и пилотировать.

У этих самолетов я не заметил шасси, нет и поплавков, и вообще это не похоже на морскую авиацию. Может быть, у них убирающиеся в фюзеляж колеса? Наверное, это так; наверное, самолеты прилетели с наземного аэродрома. Эта мысль должна бы меня ободрить.

Клочки дыма уплывают к Городу, несомые слабым ветерком, по пути тают в широком синем небе. Затихает вдали шум самолетных поршневых двигателей. Кажется, будто есть какой-то смысл в истончающемся дымном рисунке, в этих триграммах с четким интервалом



и дистанцией друг между другом. Я люблюсь неторопливо искажающимися штришками, жду, когда они превратятся в буквы, или цифры, или еще какие-нибудь узнаваемые фигуры, но через несколько минут остается только неразличимая тусклая завеса, и она колышется, точно гигантский грязный шарф из кисеи, и сносится к Городу.

Я, не зная, что и думать, качаю головой.

Уже возле двери вспоминаю об испортившемся телевизоре. Но когда пытаюсь позвонить ремонтникам, выясняется, что не работает и телефон – издает только ряд протяжных, не совсем одинаковых по длительности гудков. Пора идти. Предположим, что мир – по крайней мере мост – сошел с ума, но разве это повод пропускать завтрак?

В коридоре у двери лифта я узнаю соседа. Он следит за бронзовой стрелкой на оформленном под часовой циферблат указателе этажей над сдвинутыми дверными створками, нетерпеливо барабанит по полу ногой. На нем униформа старшего табельщика. Он слегка вздрагивает от неожиданности – ковер приглушил мои шаги.

– Доброе утро, – приветствую соседа, пока стрелка указателя медленно ползет вверх.

Табельщик неопределенно хмыкает, достает из кармана часы, глядит; нога стучит все нервней.

– Вы самолетов, случайно, не видели? – спрашиваю.

Он недоуменно смотрит на меня:

– Извините, вы о чем?

– О самолетах. Которые только что пролетели... и десяти минут не прошло.

Табельщик таращится. Затем косится на мое запястье, замечает больничный пластмассовый браслет. Гудит лифт.

– Ах да, самолеты, – говорит сосед. – Ну конечно.

Створки двери плавно расходятся. Я знаком предлагаю ему войти первым, табельщик оглядывает деревянную облицовку и бронзовую фурнитуру ожидающего лифта. Снова глядит на часы, бормочет: «Прошу извинить» – и торопливо уходит по коридору.

Спускаюсь в одиночестве. Лифт с негромким рокотом ползет по шахте. Сажусь на подковообразной кожаной скамье, смотрю, как в углу в аквариуме дрожит вода. У двери замечаю телефон.

У него увесистая медная трубка. Секунду-другую ничего не слышу, потом – короткое тихое пиканье; сначала оно кажется похожим на гудки телефона в моих апартаментах. Оно быстро сменяется довольно неприветливым голосом:

– Оператор. Да? Что вам угодно?

Испытываю своего рода облегчение:

– Мне «Ремонт и техобслуживание», пожалуйста.

– Что-что? Прямо сейчас?

Лифт тормозит, приближаясь к нужному мне этажу.

– Ладно, ничего. – Вешаю трубку.

Выхожу из лифта в одну из верхних галерей, там быстрым шагом, мимо магазинчиков со свежими продуктами, доставленными на утренних поездах, добираюсь до закусочной «Завтрак на траве». По пути задерживаюсь только у цветочного стенда и выбираю гвоздику – она будет отлично контрастировать с моими часами и жилетом.

В закусочной окон нет, стены забраны деревом и расписаны зелеными пасторальями – опытная рука художника чувствуется, а вот убедительности нет. Зато здесь тихая, спокойная атмосфера. Высокие потолки, приглушенный свет, толстые ковры и тонкий фарфор. Мне указывают на любимый столик у дальней стенки. На столике – сложенная газета, почти целиком посвященная незначительным изменениям в правилах и законах, движению и обслуживанию транспорта, должностным перестановкам и уходу в отставку (или на тот свет) администрато-

ров, а еще – крайне скучным собраниям каких-то общественных организаций и в высшей степени замысловатым спортивным и прочим играм, популярным у тутошней знати.

Я заказываю рыбное филе, пряные ягнячьи почки, гренку и кофе. Отодвигаю газету, поднимаю глаза к картине на противоположной стене. Поросший изумрудно-яркой травой покаты́й холмик в окаймлении вечнозеленых кустарников, в россыпи ярких цветов. За неглубокой ложиной – горы с лесистыми склонами и голыми макушками, их контуры четко очерчены солнечным светом.

Интересно, пейзаж написан с натуры или это лишь фантазия художника?

Вот и кофе. Я еще не видел на мосту ни одного кофейного дерева. Ягнячьи почки тоже доставлены сюда извне. Откуда именно? На мосту ходят выражения «выше по течению», «ниже по течению», мы говорим «к Городу» или «к Королевству». Наверное, суша есть (а иначе зачем бы мост?). Но как далеко она отсюда?

Я искал и разнюхивал, как мог, – у меня ведь и с языками проблемы, и доступ сыщику-любителю далеко не в каждый уголок моста открыт. Потратил несколько месяцев и ничуть не приблизился к разгадке природы или местонахождения Города и Королевства. Они так и остались туманным «не знаю что, не знаю где».

Я давно прекратил эти поиски, осточертело на каждом шагу вязнуть в тлетворной бюрократической трясине. Сложилось впечатление, что любой мой вопрос насчет размеров моста, его предназначения и истории постройки так долго кочует по многочисленным инстанциям, перефразируясь, уточняясь, очищаясь, приглаживаясь и приукрашиваясь, а также отфутболиваясь в другие департаменты и кабинеты, что к тому моменту, когда попадает в чьи-нибудь действительно компетентные руки, успевает утратить всякий смысл... А если и сохранит его остатки каким-то чудом, то любой ответ, пусть даже сравнительно внятный и мировоззренчески осмысленный, с еще большей вероятностью вырождается в полнейшую околесицу, пока доберется до адресата.

Все это копание настолько вымотало меня, что одно время я всерьез подумывал укрыться на транзитном поезде и махнуть на поиски проклятого Города или Королевства. Официально моя свобода передвижений ограничена двумя перегонами поезда – это двенадцать секций моста и примерно столько же миль в каждом направлении. Браслет на запястье служит пропуском в этих пределах и сообщает кондукторам, на какое отделение больницы высылать счет за билет. Двадцать четыре мили – это, конечно, щедро, однако тюремная зона не станет волей, если раздвинуть ее границы.

Ехать зайцем я не решился. Рассудил, что лучше вернуть утраченные территории у себя в черепушке, чем разведывать забытые пространства вовне. Но окончательно от этой затеи я не отказываюсь. Дождусь выписки – а там поглядим.

– Опр, с добрым утром.

Мне изволил составить компанию мистер Брук, инженер, – я с ним знаком еще с больницы. Он невысок, смугл, выглядит так, будто на него ежесекундно давит тяжелый пресс. Брук неуклюже усаживается напротив меня и кривится.

– Доброе утро, Брук.

– Видел эти чертовы?.. – Недовольная мина прорисовывается четче.

– ...Самолеты? Да. А ты?

– Нет, только дым. Какова наглость, а?!

– Не одобряешь?

– Не одобряю? – (Похоже, мой вопрос озадачил Брука.) – Одобрять или не одобрять – это не мое дело. Но если хочешь знать, я позвонил своему знакомому в «Грузоперевозки и расписание», и там никто ничего не знает об этих... самолетах. Никто ничего не санкционировал! Помни мои слова: скоро покатаются головы!

– А что, есть законы, запрещающие летать?

– Нет законов, которые разрешают. Вот в чем штука, Опп. Видишь ли, друг мой любезный, нельзя допускать, чтобы люди шатались где им вздумается и вытворяли что захотят просто потому, что им так нравится, просто потому, что им это взбрело в голову. Необходимы... э-э... какие-то рамки. – Он укоризненно качает головой, глядя на меня. – Знаешь, Опп, странные у тебя иногда возникают мысли.

– Кто бы спорил.

Брук заказывает себе кеджери. В больнице мы лежали в одной палате, и его тоже лечил доктор Джойс. Брук занимал должность старшего инженера, специализировался на распределении веса моста по морскому дну и получил травму – что-то там с кессоном, поддерживающим гранитную опору. Физически Брук уже выздоровел, но не оправился от затяжной бессонницы. Что-то в его облике и манерах наводило меня на мысли о плохом освещении, казалось, даже под прямыми лучами солнца он ухитряется оставаться в тени.

– Знаешь, сегодня было еще кое-что странное, – говорю.

Он вроде бы настораживается:

– В самом деле?

Я рассказываю о человеке на больничной койке, о самовключающемся телевизоре и заброшенном телефоне. Похоже, у Брука отлегло от сердца.

– А, вот ты о чем? Ну, такое часто случается. Готов поспорить, где-то закоротило провода, вот и вся загадка. Свяжись с «Ремонтом и техобслуживанием» и доставай тамошних лежебок, пока не пришлют кого-нибудь.

– Так и сделаю.

– Как там наш шарлатан?

– Джойс? Все еще возится со мной. У меня пошли кое-какие сны, но, боюсь, они... чересчур структурированы для доброго доктора. Мой рассказ он фактически пропустил мимо ушей. Упрекнул меня за прекращение поисков.

Брук сокрушенно цокает языком:

– Видишь ли, Опп, он, конечно, врач и все такое, но на твоём месте я бы не тратил времени на все эти... – он замолкает, подыскивая хлесткий эпитет, и не находит, – расспросы. Очень маловероятно, что они тебя куда-нибудь приведут. И уж памяти не вернут, не надейся. И еще: стоит ли глазеть, как школьница, на такую дребедень? – Он машет рукой в сторону пасторального пейзажа на стене и хмурится, словно углядел на лакированных панелях какую-то малозаметную гадость.

– Брук! – укоризненно смотрю на него. – Неужели тебе самому не хочется увидеть что-нибудь, кроме моста? Горы, лес, пустыню? Ты хоть представь...

– Друг мой любезный, – мрачно-терпеливым, почти усталым тоном говорит он, глядя, как официант наливает ему кофе, – а ты хоть представляешь, сколько под нашими опорами залегает самых разных горных пород?

Чувствую, что напросился на лекцию по геологии, но это хоть шанс съесть пряные почки – они уже поданы и остывают.

– Нет, – признаю.

– Так я отвечу. Не меньше семи чистых, не считая десятков переходных. Представлены все комплексы: и осадочный, и метаморфический, и магматические – интрузивный и эктрузивный. Мощнейшие толщи базальтов, долеритов, кальцитов и карбоновых песчаников, базальт-трахитовые агломераты, базальтовые лавы, третичный и старый красный песчаники, и уймища сланцевого песка, и все это – в сложных складках, еще даже не закартированных...

Больше мне никаких пород не переварить.

– Ты клонишь к тому, – говорю я, когда появляется кеджери и Брук обрушивает на тарелку мощный солевой снегопад, а затем посыпает перцем, точно слоем вулканического

пепла, – что пытливому уму мост предлагает более чем достаточно и нет нужды привлекать ресурсы извне?

– Точно так.

Я бы сказал, скорее приблизительно, чем точно, – ну да Бог ему, Бруку, судья. Кое-что за пределами моста определено есть. Что-то я смутно, но припоминаю. Кажется, у меня в голове сохранились абстракции, зыбкие представления о вещах, которых на мосту не найти: о ледниках, соборах, автомобилях... список почти бесконечен. Но в деталях ничего не вспомнить, образы на ум нейдут. Я нормально освоился с единственным языком, которым владею, а также с обычаями и нравами моста (любые обычаи и нравы – в той или иной степени продукт воспитания), но, хоть убейте, ничего не могу сказать о том, где и чему я учился, под чьим, так сказать, крылышком рос. Все-то у меня есть, кроме памяти. Фигурально выражаясь, у других в распоряжении энциклопедии и журналы, а у меня... карманный словарь.

– Так-то оно так, Брук, – говорю. – Но, похоже, на мосту очень уж многое не подлежит обсуждению. Для начала: секс, религия, политика...

Он замирает – вилка с кеджери не донесена до рта.

– Да, но... – смущенно мямлит он, – что же тут такого?.. Если мужчина женат, или, допустим, у девушки лицензия, или... Да черт возьми, Опп! – Кладет вилку на тарелку. – Вечно ты талдычишь: «религия, политика»! Что конкретно ты имеешь в виду?

Похоже, он это всерьез. Во что я ввязываюсь? Сейчас – разговор с этим субъектом, а после – сеанс у доктора Джойса, так, что ли? Тем не менее ближайшие десять минут я пытаюсь что-то растолковать Бруку. Когда наконец умолкаю, он говорит:

– Гм... не возьму в толк, почему ты употребляешь два слова. Для меня это одно и то же.

Я откидываюсь на спинку стула и потрясенно восклицаю:

– Брук, тебе бы философом быть!

– Кем-кем? Фило?..

– Да ладно, ладно. Доедай кеджери, а то остынет.

Трамваем добираюсь до секции, где располагается доктор Джойс. На верхнем ярусе – сутолока и грохот; полно рабочих. Они сидят на грязных скамьях и читают газеты с крупным шрифтом и фотографиями. Что их интересует, можно даже не гадать: спорт и лотерея. Это сталевары и сварщики, на их комбинезонах из грубой ткани нет карманов, зато полно мелких прожженных дыр. Труженики о чем-то толкуют между собой, а на меня не обращают внимания. Время от времени мне вроде бы удастся уловить словечко-другое – не мой ли родной это язык, только сильно искаженный? – но чем больше я слушаю, тем меньше понимаю. Хотелось бы дожидаться трамвая класса «люкс», но так я опоздаю на прием к доктору Джойсу, а я стараюсь быть пунктуальным.

Скоростным лифтом добираюсь до уровня, где расположена клиника. В кабине играет фоновая музыка, но, как всегда, в моих ушах это звучит полукакофонией, абсурдной мешаниной из красивых аккордов и варварских бессвязных звуков, – впечатление такое, будто вся музыка на мосту закодирована. Раньше я надеялся услышать что-нибудь знакомое, что и сам мог бы насвистывать, – но в конце концов сдался.

Почти всю дорогу со мной в кабине едет юная леди. Она стройненькая и смуглая; она скромно глядит в пол. У нее длинные черные ресницы и идеально очерченные щеки. Спутница моя носит великолепного покроя длинную юбку и короткий жакет, и я ловлю себя на любовании – как восхитительно поднимаются и опускаются точеные груди под белым шелком! Ни разу не взглянув на меня, девушка покидает лифт и оставляет за собой лишь аромат духов – легкий, мгновенно тающий.

Я сосредоточенно разглядываю фотографию, что висит на темной деревянной облицовочной панели возле двери лифта. Этот старый, с оттенком сепии, снимок показывает процесс строительства трех секций моста. Они стоят порознь, и ничто не связывает их, кроме условного в своей незавершенности сходства. Из них торчат трубы и балки, бурые стальные плоскости испещрены лесами и массивными паровыми кранами; в таком виде секции имеют почти шестиугольную форму. Дата на снимке отсутствует.

Клиника пропитана запахом краски. Двое рабочих в белых комбинезонах вносят через двери стол. В приемной пусто, лишь белые полотнища лежат на полу, и рабочие ставят стол посреди комнаты. Я заглядываю в кабинет – там тоже пусто и тоже пол накрыт белым. Со стеклянной дверной панели убрана табличка с именем доктора Джойса.

– В чем дело? – спрашиваю рабочих. Они смотрят на меня как на неодушевленный предмет и отворачиваются.

Снова – лифт. У меня дрожат руки.

Но, слава богу, больничная регистратура осталась на месте. Приходится ждать, пока регистратор объяснит, куда идти, молодой супружеской чете с маленьким ребенком. Вот они отправляются по длинному коридору, и наступает моя очередь.

– Я ищу офис доктора Джойса, – говорю сидящей за столом полной суровой тетке. – Он был в офисе тридцать четыре двадцать два. Я еще вчера туда приходил и с ним виделся. Но он, похоже, переселился.

– Вы пациент?

– Меня зовут Джон Орр. – Я даю ей прочесть на браслете остальные сведения обо мне.

– Минуточку. – Она поднимает телефонную трубку.

Я сажусь на мягкую скамью посреди регистратуры, которая окружена коридорами; они расходятся, как спицы от ступицы колеса. Те, что покороче, ведут на открытый воздух. Ветерок колышет мягкие белые занавеси. Женщина за столом беседует по телефону то с одним человеком, то с другим. Наконец она кладет трубку.

– Мистер Орр, доктор Джойс теперь находится в офисе тридцать семь ноль четыре.

Она рисует, как мне добраться до нового офиса. У меня в груди тупо ноет – там живет кольцевидное эхо боли.

– Мистер Брук шлет вам свои наилучшие пожелания.

Доктор Джойс поднимает глаза от записей, моргают серовато-розоватые веки. Я рассказываю сон про галеоны и обмен абордажными партиями. Он слушает не перебивая, время от времени кивает, изредка хмурится и делает пометки в блокноте. Потом я умолкаю, и затягивается пауза.

– Мистер?... – недоуменно переспрашивает доктор Джойс. Тонкий серебряный карандаш нависает над блокнотом, точно крошечный кинжальчик.

– Мистер Брук, – напоминаю. – Поступил из хирургии почти одновременно со мной. Инженер, страдает бессонницей. Вы его лечите.

– А-а!.. – говорит через секунду доктор Джойс. – Вот вы о ком! – И опять склоняется над блокнотом.

Новые помещения доктора Джойса еще грандиознее прежних: тремя этажами выше, больше по площади. Все это говорит о том, что дела его продолжают идти в гору. У него теперь и референт, и секретарь в приемной. Да, к прискорбию моему, это крутое восхождение выдержал и МДР. «Мистер Орр, да вы прекрасно выглядите! Как я рад вас видеть! Присаживайтесь! Позвольте взять ваше пальто. Чашечку кофе? Или чая?»

Серебряный карандашик отправляется в нагрудный карман.

– Итак, – разминает кисти врач, – что вы извлекли из этого сна?

Ну вот, снова-здорово!

– Док, – говорю, рассчитывая фамильярным тоном для начала подействовать ему на нервы, – хоть убейте, ничего сказать не могу. Не моя профессия, сами понимаете. А как насчет вашего просвещенного мнения?

Доктор Джойс секунду-другую спокойно глядит на меня. Затем встает и бросает блокнот на стол. Подходит к окну, стоит, глядит наружу и часто кивает.

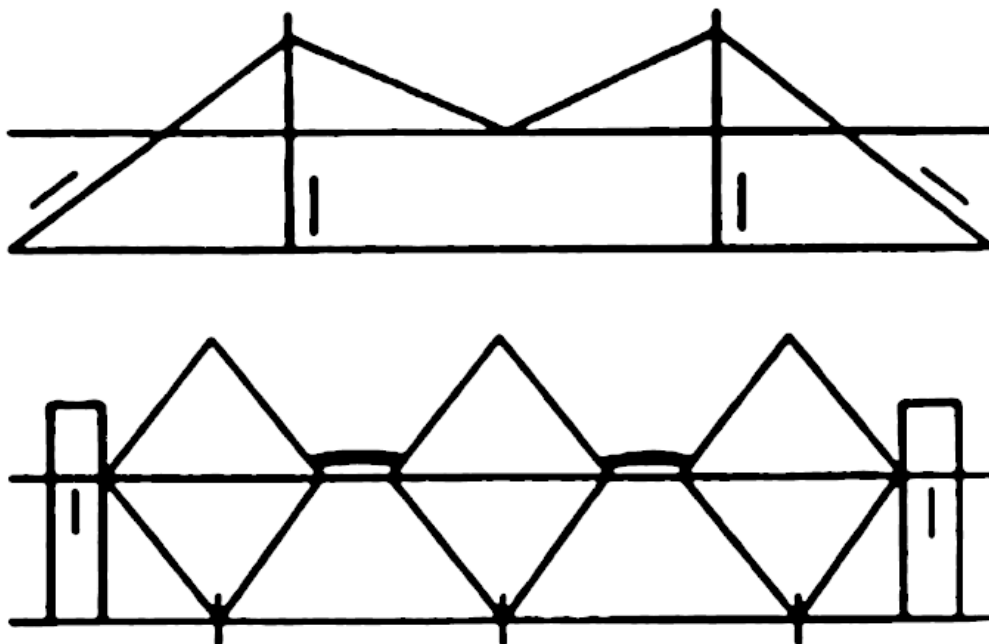
– Оorr, я вам выскажу свое мнение, – поворачивается ко мне. – Я думаю, что оба эти сна, и сегодняшний, и вчерашний, ровным счетом ничего нам не дали.

– Да? – спрашиваю. Эх, черт побери, а я так старался! Откашливаюсь, изрядно раздосадованный. – И что теперь делать будем?

У доктора Джойса странно блестят голубые глаза. Он выдвигает ящик из стола, достает большой альбом с моющимися пластиковыми страницами и фломастер, вручает их мне. На страницах альбома в основном незаконченные рисунки и тесты с чернильными кляксами.

– Раскройте на последней странице, – говорит добрый доктор.

Я дисциплинированно листаю до конца. На последней странице – два рисунка.



– Что делать? – спрашиваю. Все это как-то по-детски.

– Видите короткие черточки? Четыре на верхнем рисунке, пять – на нижнем?

– Да.

– Дорисуйте стрелочки, чтобы получились соответствующие векторы силы.

Я открываю рот, чтобы спросить, но Джойс вскидывает руку:

– Больше я вам ничего сказать не могу. Не имею права давать подсказки или отвечать на вопросы.

Я беру фломастер, пририсовываю, что велено, и отдаю альбом доктору. Он глядит и кивает.

– Ну что? – спрашиваю.

– Что «ну что»? – Он достает из выдвижного ящика тряпку и протирает страницу, а я кладу фломастер на стол.

– Я правильно сделал?

Врач пожимает плечами.

– Что такое «правильно»? – грубовато спрашивает он, пряча альбом, фломастер и тряпку обратно в ящик. – Будь это экзаменационный вопрос, я бы считал, что вы с ним справились. Но мы не на экзамене по физике. Это всего лишь психологический тест, и он должен был о вас кое-что рассказать. – Он снова царапает в блокноте серебряным карандашом с выдвижным грифелем.

– И что же он обо мне рассказал?

Джойс опять пожимает плечами, глядя в свои записи.

– Не знаю, – отвечает он ворчливо. – Что-то должен был рассказать, но что именно – не знаю. Пока.

Очень хочется садануть по его серовато-розоватому носу.

– Понятно, – киваю. – Что ж, надеюсь, я был чем-то полезен для развития медицины.

– И для меня. – Доктор Джойс смотрит на часы. – Хорошо, думаю, на сегодня все. Запишитесь на завтра, просто на всякий случай, но, если никаких снов не будет, позвоните, и мы отменим встречу. Согласны?

– Ну и ну! Да вы просто мигом обернулись, мистер Опп! И как оно прошло? Как по маслу? – Безупречно вышколенный секретарь врача помогает мне надеть пальто. – Не успели прийти и сразу уходите? А как насчет кофе?

– Нет, спасибо.

Я гляжу на мистера Беркли и полицейского – они снова в приемной. Мистер Беркли в позе эмбриона лежит на боку, а охранник сидит в кресле и попирает своего подопечного стопами.

– Мистер Беркли сегодня – пуфик для ног, – гордо сообщает мне Молодой-Да-Ранний.

В просторных помещениях верхнего яруса высокие потолки, в безлюдных коридорах широкие толстые ковры густо пахнут сыростью. На стенах – панели из тика и красного дерева, в окнах – бронзовые рамы; стекла голубоватые, как хрусталь с примесью свинца; за ними виднеется окутанное туманом море. В стенных нишах, точно слепые призраки, старые изваяния давно забытых бюрократов. Огромные, потемневшие от времени полотнища знамен наверху – как тяжелые рыбацкие сети, развешенные на просушку. Их легонько колышет прохладный сквозняк, тот самый, что шевелит древнюю пыль в сумрачных высоких коридорах.

В получасе блуждания от клиники я обнаруживаю старый лифт напротив гигантского круглого окна с видом на море. Окно ничто так сильно не напоминает, как циферблат стеклянных часов без стрелок. Дверь в кабину открыта, внутри на высоком стуле почивает седой старик. На нем длинная бордовая ливрея с блестящими пуговицами, тонкие руки скрещены на животе, окладистая борода распластана по груди, и в ритме дыхания поднимается и опускается седая голова.

Я кашляю. Старик не просыпается. Я стучу по торцу дверной створки:

– Эй!

Он вздрагивает всем телом, отнимает руки от живота и, чтобы не полететь со стула, хватается за рычаги управления лифтом. Щелчок, и створки идут навстречу друг другу со стоном и скрипом. Но беспорядочно машущие руки снова ударяют по медным рычагам, заставляя створки расступиться.

– Простите, сэр! Как вы меня напугали! Решил вздремнуть, а тут вы пожаловали. Входите, сэр. На который вам этаж?

Просторный, с целую комнату величиной, лифт полон разномастных стульев, щербатых зеркал и потускневших от пыли гобеленов. Если только это не трюк с зеркалами, то лифт имеет в плане форму буквы «L». Иначе говоря, таких я еще не видал.

– К поездам, пожалуйста.

– Сию секунду!

Престарелый лифтер цепляется морщинистой дланью за рычаги управления. Створки двери скрежещут, стучат друг о дружку, но несколько толчков ладонью и точно нацеленных ударов кулаком по медной пластине с рычагами помогают лифтеру привести кабину в движение. Она погромыхивает, величаво идет вниз; дрожат зеркала, дребезжит мебель, легкие скамьи и стулья пошатываются на неровно постеленном ковре. Старец лихачески раскачивается на высоком стуле и крепко держится за медный поручень под пультом управления. Я слышу, как лязгают зубы моего попутчика. Я боюсь с помощью отполированного до блеска поручня. Тот сильно разболтан – ходит ходуном. Где-то над головой – жуткие звуки, словно рвется металл.

Изображая невозмутимость, читаю пожелтевшую инструкцию на стене. На ней перечислены обслуживаемые этим лифтом этажи и находящиеся на них отделы, службы и другие структуры. Один из верхних пунктов притягивает мое внимание как магнитом. Эврика!

– Послушайте, – говорю старику. Он поворачивает голову, трясаясь, как паралитик, и смотрит на меня. Я стучу по листу на стенке: – Я передумал. Хочу вот на этот этаж. На пятьдесят второй. В Третью городскую библиотеку.

Несколько секунд старик в отчаянии смотрит на меня, потом берется дрожащей рукой за дребезжащий рычаг и опускает его до отказа. После чего судорожно хватается за бронзовый поручень и зажмуривает глаза.

Своем, скрежетом, стуком, тряской и боковой качкой кабина меняет свой курс на противоположный. От ужасающего толчка я чуть не падаю, старик слетает со своего высокого стула. Валятся и остальные стулья. Лопается зеркало, с потолка срывается лампа и повисает на проводе, конвульсивно дергаясь, точно висельник; это сопровождается градом штукатурки и пыли.

Мы останавливаемся. Старик сбивает ладонями пыль с плеч, поправляет ливрею и шляпу, поднимает стул и нажимает какие-то кнопки. Мы движемся вверх, причем довольно гладко.

– Простите! – кричу лифтеру. Он дико смотрит на меня, затем так же дико озирается, словно пытается сообразить, вину в каком таком ужасном преступлении я только что взял на себя. – Я не ожидал, что остановка и перемена направления будут столь... драматичными, – выкрикиваю.

Он таращится на меня в полном недоумении, затем озирает дребезжащий пыльный интерьер своего крошечного царства. Лифтер явно не в силах понять, что меня так взволновало.

Мы останавливаемся. Лифт по прибытии не звенит, нет, – его колокол, чья мощь и тон уместней были бы в кафедральном соборе, сотрясает воздух в кабине. Старик в страхе смотрит вверх.

– Приехали, сэр!

Он открывает двери и отскакивает назад перед сценой кромешного хаоса. Я несколько секунд изумленно пучу глаза, затем медленно выхожу из кабины. Старый лифтер пугливо выглядывает из дверного проема.

Похоже, здесь произошла ужасная катастрофа. Огромный вестибюль усыпан обломками, виден огонь, поваленные фермы, вперемешку – трубы и балки. Грудами лежит битый кирпич, свисают порванные кабели. Мечутся люди в форме, с пожарными шлангами, носилками и другими, неизвестными мне инструментами. Повсюду висит густой дым. Взрывы, завывание сирен, визг клаксонов, мегафонные вопли... Даже для наших несколько оглохших от колокола ушей этот шум-гам невыносим. Что же тут происходит?

– Силы небесные! – Старый лифтер кашляет. – Не очень-то похоже на библиотеку, а, сэр?



– Да уж... – соглашаюсь, наблюдая, как перед нами десяток пожарников толкают какую-то штуковину вроде насоса по заваленному обломками полу. – А вы уверены, что это тот самый этаж?

Лифтер сверяется с указателем этажей, бьет по защитному стеклу артритным кулачком.

– Еще как уверен, сэр! – Он извлекает откуда-то очки, водружает на нос и снова разглядывает указатель. Снаружи, в гуще проводов, что-то взрывается с черным дымом и фонтаном искр; ближайшие люди спешат укрыться. Некто в высокой шляпе и ярко-желтой форме замечает нас и машет мегафоном. Мы остаемся на месте. Он направляется к нам, перешагивает через несколько носилок с человеческими телами.

– Эй, вы! – кричит он. – Кто такие и кой черт вас сюда принес? Мародеры? Некрофилы? А? Чего вам тут надо? А ну пошли вон!

– Я ищу Третью городскую архивно-историческую библиотеку, – отвечаю хладнокровно.

Он машет мегафоном себе за спину, указывая на картину разрушения:

– А мы, по-твоему, чем занимаемся? Понял, кретин? А теперь вали отсюда! – Он тычет мегафоном мне в грудь и уносится, словно ураган. Я вижу, как он спотыкается о носилки с пострадавшим, а затем направляется к расчету громадного насоса. Мы с лифтером переглядываемся. Он закрывает двери.

– Хамло и скотина. Верно, сэр? – Похоже, он немного расстроен. – Теперь куда, сэр? К поездам?

– Гм... Ну да... Пожалуйста. – Снова берусь за держащийся на честном слове медный поручень, и кабина несет нас вниз. – Интересно, что там случилось-то?

Старик пожимает плечами:

– А бог его знает, сэр. На верхних уровнях чего только не случается. Иногда такое увидишь... – Он качает головой, присвистывает сквозь зубы. – Вы бы, сэр, наверное, не поверили.

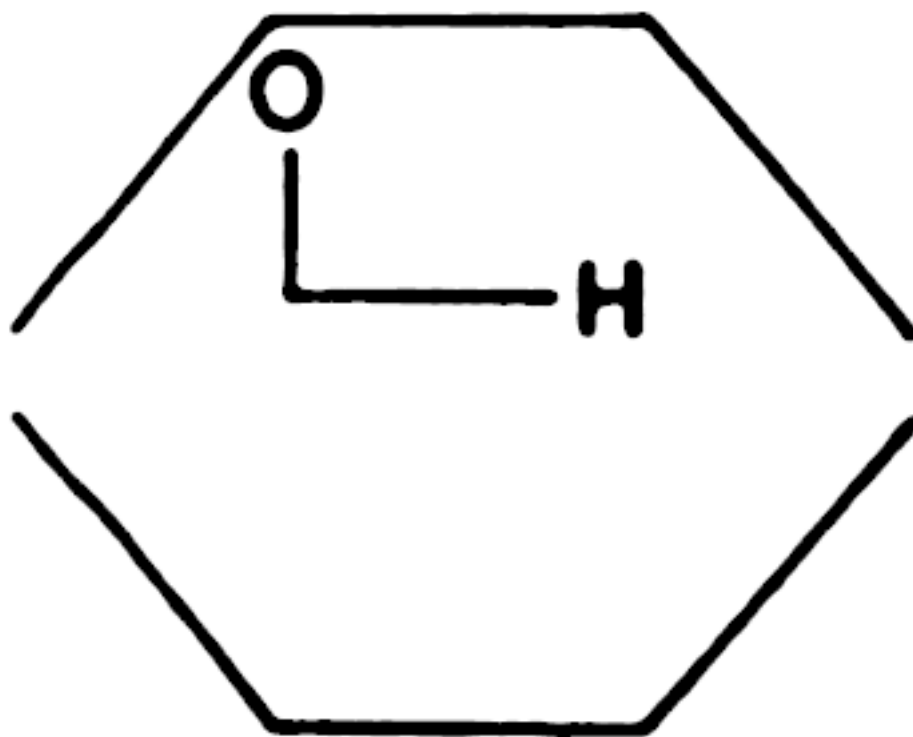
– Да уж, – соглашаюсь уныло. – Мог бы и не поверить.

В полдень я выигрываю гейм в теннисном клубе, потом проигрываю. Единственная тема разговора – самолеты и их дымовая тайнопись.

Большинство посетителей клуба – технократы и бюрократы – восприняли загадочный полет как возмутительную выходку, «с которой необходимо что-то делать». Я спрашиваю корреспондента газеты, не слышал ли он что-нибудь о страшном пожаре на этаже, где должна находиться Третья городская библиотека, но он даже о такой библиотеке не слышал, а уж о какой-то аварии на верхних ярусах – и подавно. Но он попытается выяснить.

Из клуба я звоню в «Ремонт и техобслуживание» и рассказываю о своем телевизоре и телефоне. Обедаю в клубе, а вечером иду в театр на какую-то муть: дочка сигнальщика влюбилась в туриста, а тот оказался сыном железнодорожного начальника да вдобавок обрученным – это он перед свадьбой решил гульнуть «на стороне». После второго акта я ухожу.

Дома, когда я раздеваюсь, из кармана пальто выпадает бумажный комочек. На нем смазанный рисунок – это регистраторша в больнице показывала, как добраться до клиники доктора Джойса. Вот как он выглядит:



Рассматриваю, и чем-то он мне не нравится. Голова кружится, и комната будто бы накренилась, словно я все еще в ветхой L-образной кабине лифта рядом со стариком в ливрее, который совершает очередной опасный, не предусмотренный инструкциями маневр. Мысли на миг расплываются и смешиваются, как те дымные сигналы загадочных самолетов (и, обморочно пошатываясь, я сам на мгновение кажусь себе чем-то дымным и бесформенным, хаотичным и зыбким, как туманы, что клубятся у верхних ярусов моста-исполина, покрывая влагой, точно потом, слои старой краски на его фермах и балках).

Из этого странного ступора меня выдергивает звонок телефона. Я поднимаю трубку, но слышу только знакомые регулярные гудки.

– Алло? Алло?

В ответ – гудки. Опускаю трубку. Телефон звонит снова, и все повторяется. На сей раз я кладу трубку рядом с аппаратом и накрываю подушкой. Включать телевизор даже не пытаюсь, знаю, что я там увижу.

Уже идя к кровати, замечаю, что все еще держу клочок бумаги. Я бросаю его в мусорное ведро.

## Глава третья

За моей спиной лежит пустыня, впереди – море. Пустыня – золотая, море – синее; они встречаются, как соперничающие времена. Море живет в настоящем, оно сверкает барашками, вздымается белыми валами, и ухает вниз, и бьется в песчаный берег, и его прилив – как дыхание... Пустыня движется медленно, но верно, ее высокие рассыпчатые волны ползут по безжизненной земле под гребенкой невидимого ветра.

Меж пустыней и морем, утонув наполовину и в той, и в другом, лежит древний город.

Он изъеден ветром, песком и водой. Подобно зернышку, он угодил меж крутящимися мельничными жерновами – каменные строения не устояли перед разрушительной силой ветра.

Я был один, я бродил в полуденной жаре, белым призраком витал между горами обломков. Тени своей я не видел, она тянулась назад от ног.

Темные с розовым оттенком камни лежали кругом в полнейшем беспорядке. Сгнуло большинство улиц, их давным-давно погребли крадущиеся пески. Склоны барханов были испещрены ветхими арками, вывалившимися перемычками, кусками поверженных стен. У бахромчатой кромки берега разрозненные останцы каменной кладки противостояли набегам волн. Чуть дальше из моря выступали накренившиеся башни и фрагмент арки, словно кости давно утонувшего чудовища.

Над пустыми дверными проемами и забитыми песком окнами я видел резные фризy. Я рассматривал удивительные полусточенные фигурки и символы и пытался разгадать их смысл. Несомый ветром песок истончил иные стены и балки до ширины вытесанных на них знаков; сквозь кроваво-алый камень просвечивало голубое небо.

– А ведь мне знакомо это место, – ни к кому не обращаясь, проговорил я. – Я вас знаю, – сказал я безмолвным развалинам.

В стороне от городища стояла исполинская статуя. Изваяние с могучим торсом и мужской головой, высотой в три-четыре человеческих роста, располагалось между пеной прибоя и кромкой молчаливых руин. В незапамятные времена у него отвалились или были отбиты руки. Ветер и песок чуть ли не до блеска отшлифовали сколы на кульях. Одна сторона массивного туловища и головы накопила следы бесчинств ветра, но другая половина осталась узнаваемой: большой обнаженный живот, на груди – всевозможные украшения, в том числе ожерелья толщиной с манильский канат. На широкой плечи – корона, ухо оттянуто тяжелыми кольцами, в носу тоже кольцо. Как и смысла резных символов, я не смог разгадать выражения изъязвленного временем лика: то ли жестокость, то ли горечь, то ли равнодушие очерствелой души ко всему, кроме песка и ветра.

Я поймал себя на том, что шепчу, глядя в выпученные каменные глаза:

– Мох? Мокко?

Но от великана – никакого содействия. Имена тоже ветшают, хоть и медленно. Сначала искажаются, потом сокращаются, наконец забываются.

На пляже перед городом, в некотором отдалении от каменного истукана, я заметил человека. Он был низок, хром и горбат, он стоял по колено в прибойной пене, омывавшей его темные лохмотья, бил по воде тяжелой цепью и громко проклинал все и вся.

Тяжелый горб клонил его голову книзу, грязные патлы тугими жгутами свисали до самой воды; иногда словно седой волос выбивался из этой темной гущи – длинная струя слюны падала на воду и уплывала прочь.

Всякий раз, когда он вскидывал и резко опускал правую руку, на море обрушивалась цепь – дюжина тронутых ржавчиной, но поблескивающих тяжелых чугунных звеньев на гладкой деревянной рукояти. Вокруг под размеренными и непрекращающимися ударами пенилась и пузырилась вода и темнела от поднятого со дна песка.

Горбун по-крабьи сместился на шаг в сторону, вытер рукавом рот и возобновил порку. Он непрерывно бормотал, пока взлетала и падала, поднимая брызги, тяжелая цепь. Я долго стоял за его спиной на берегу и наблюдал. Вот он снова прервал экзекуцию, вытер лицо и сделал еще шаг в сторону. Ветер взметнул изорванные одежды, подкинул засаленные космы. Эти же порывы трепали и мой ветхий наряд. Должно быть, горбун уловил в шуме прибоя посторонний звук, так как он не возвратился к своему занятию. Голова чуть повернулась, словно он напрягал слух. Казалось, он силится выпрямить увечную спину... а потом сдался. Мелкими, шаркающими шажками, будто стреноженный, он медленно повернулся кругом. И вот мы стоим лицом к лицу. Он постепенно поднял голову и замер, когда наши глаза встретились. Волны плескали в его колени, цепь, чью рукоять сжимали узловатые пальцы, покачивалась в воде.

Его физиономия почти целиком скрывалась под спутанными волосами, выражения было не разобрать. Я ждал, когда он заговорит, но он терпеливо безмолвствовал, и наконец я произнес:

– Извините... Продолжайте, пожалуйста.

Он долго молчал, ничем не выдавая, что услышал мои слова. Словно нас разделяла некая среда, гораздо медленнее пропускавшая звуки, чем это делает воздух. Наконец коротышка ответил удивительно вежливым голосом:

– Понимаете, это моя работа. Меня специально наняли.

– Ну конечно же, понимаю, – кивнул я, ожидая дальнейших объяснений.

Опять показалось, что мои слова дошли до него с большим запозданием. Он очень неуклюже пожал плечами:

– Видите ли, однажды великий император... – Тут его голос на добрую минуту затих. Я ждал. Он задумчиво покачал головой и шаркающе развернулся к изрезанному волнами синему горизонту. Я громко позвал, но если он и услышал, то не подал виду.

Бранясь и бормоча, спокойно и монотонно он снова принялся рассекать цепью волны.

Я еще немного понаблюдал за тем, как он бичует море, потом повернулся и зашагал прочь. Не замеченный мной раньше чугунный браслет, словно наручник беглого арестанта, тихо и ритмично позвякивал на моем запястье, когда я возвращался к развалинам.

В самом ли деле мне это приснилось? Разрушенный город у моря, человек с цепью?.. Несколько мгновений пребываю в замешательстве: может, это просто я накануне вечером лежал не смыкая глаз и пытался придумать для врача правдоподобный сон?

Нежась в темноте на широкой теплой постели, я даже испытываю облегчение. Я даже тихо смеюсь, крайне довольный собой, – ведь я в конце концов дождался сна, который можно пересказать доброму доктору с чистой совестью. Я встаю и надеваю халат. В квартире холодно, серая заря едва просвечивает через высокие окна; робкий, медленно пульсирующий свет исходит из-за моря, из-за длинного вала темной тучи, как будто туча – это суша, а заря – медленно мигающий в гавани буй.

Где-то бьет колокол, где-то очень далеко, и вслед раздается другой звон, потише, и так пять раз. Уже пять утра. Далеко внизу локомотив со свистом выпускает пар. Едва различимый ухом, скорее осязаемый, рокот говорит мне о прохождении груженого товарняка.

Я выхожу в гостиную и вижу неподвижную серую картину: человек на больничной койке. Прихотливо расставленные по комнате бронзовые статуэтки рабочих-мостовиков отражают своими неровными поверхностями бледный монохромный свет. Внезапно в кадр молча входит женщина, медсестра, и приближается к койке. Ее лица я не вижу. Похоже, она зашла проверить температуру больного.

Никаких звуков, кроме далекого шипения. Медсестра обходит вокруг кровати, ступая по блестящему полу: проверяет аппаратуру. И снова исчезает, уйдя из-под объектива камеры, но тут же возвращается с небольшим металлическим подносом. Она берет с подноса шприц,

наполняет его какой-то жидкостью из пузырька, переворачивает иглой вверх, протирает ваткой руку больного и делает укол. Втягиваю воздух сквозь зубы – я всегда (точно в этом уверен) боялся уколов.

Картинка слишком мутная, не рассмотреть, как сталь входит под кожу, но воображение рисует косой срез иглы, изжелта-бледную дряблую кожу... Я сочувственно морщусь и выключаю телевизор.

Я поднимаю подушку с телефона. По-прежнему – короткие гудки, разве что, может, почаще прежних. Я кладу трубку на рычаг. Тотчас аппарат разражается звоном. Снимаю трубку и вместо гудков слышу:

– Ага, Опп! Наконец-то. Ведь это ты?

– Да, Брук, это я.

– И где же пропадал? – Язык у него запинается.

– Спал.

– Где, где? Пардон, этот шум...

На заднем плане в трубке слышится какая-то болтовня.

– Нигде я не пропадал. Я спал. Или, точнее, я...

– Спал? – громко перебивает Брук. – Ну нет, Опп, так не пойдет! Не пойдет, и все тут! Сейчас же дуй к нам, в «Дисси Питтон», мы для тебя бутылочку сберегли...

– Брук! Ночь на дворе!

– Да иди ты! Не может быть! Я ведь только что сюда пришел.

– Уже светает.

– Да ты что? – В трубке замирает изумленный голос Брука. Затем я слышу, как он что-то выкрикивает, и раздается громкий недружный смех. – Опп, давай к нам, и побыстрее. Садись на первый поезд, или что там уже ходит. Мы ждем.

– Брук...

Но Брук снова говорит не в трубку, а еще слышны далекие крики.

– Кстати! – произносит он. – Шляпу захвати. Понял? Ты должен быть в... – Новые вопли на заднем плане. – Да, пусть будет широкополая. У тебя найдется широкополая шляпа?

– Но при чем...

Меня перебивают крики. Брук уже орет в трубку:

– Да, широкополая! Если нет широкополой, то никакой не надо. Так как, есть у тебя широкополая?

– Наверное, – отвечаю и спохватываюсь, что этим признанием я вынуждаю себя ехать.

– Отлично, – говорит Брук. – До скорой встречи. Шляпу не забудь.

Он кладет трубку на рычаг. Я поступаю так же, снова поднимаю трубку и слышу ритмичные гудки. Я гляжу в окно на медленно мигающий свет над облачным валом, пожимаю плечами и иду в гардеробную.

Бар «Дисси Питтон» занимает не пользующиеся особым спросом помещения в считанных ярусах над железной дорогой. Это несколько залов, асимметрично расположенных друг над другом. Непосредственно под нижним баром находятся канатные мастерские, там в длинных узких ангарах плетут веревки и тросы. Вполне естественно, что и «Дисси Питтон» – это царство веревок и тросов. Вся мебель там не стоит на полу, а подвешена к потолку. В «Дисси Питтоне» даже мебель на ногах не держится, как заметил Брук в один из тех редких моментов, когда в нем просыпается чувство юмора.

Швейцар спит стоя, привалившись к стене, сложив руки на груди и свесив голову. Козырек фуражки защищает его глаза от мерцающей над дверью неоновой вывески. Я захожу и поднимаюсь по лестнице через два темных безлюдных этажа. Шум и свет указывают мне путь туда, где вечеринка в самом разгаре.

– Опп! Ты-то нам и нужен!

Из людской сутолоки, из качающегося нагромождения столов, стульев, кушеток и ширм появляется нетвердо держащийся на ногах Брук. Он подходит ко мне, перешагнув через какого-то сморенного сном посетителя. В «Дисси Питтоне» мертвецы пьяные редко задерживаются под одним столом, обычно они успокаиваются в каком-нибудь дальнем уголке бара; кажущийся беспредельным тиковый пол соблазняет их ползти и ползти на четвереньках. А может, их толкает глубоко укоренившийся инстинкт инфантильной любознательности. Или дело в том, что они вживаются в образ улитки?

– Вот молодец, что пришел, – говорит Брук, подавая мне руку. Он глядит на широкополую шляпу, которую я прихватил с собой. – Шикарная шляпа. – Он ведет меня к дальнему столу.

– Угу. – Я отдаю ему шляпу. – Кому она понадобилась? И что тут затевается?

– Да что ты говоришь. – Он останавливается, вертит шляпу в руках. Заинтригованно изучает подкладку, словно рассчитывая найти там подсказку.

– Помнишь, ты просил широкополую шляпу? – говорю. – Хотел, чтобы я ее сюда принес.

– Хм... – говорит Брук и ведет меня к столу, за которым сгрудились четверо или пятеро. Я узнаю Бейкера и Фаулера, это инженеры, приятели Брука. Они снова и снова пытаются встать. Брук все еще озадачен. Пристально глядит на шляпу.

– Брук, – с трудом сдерживаю раздражение, – ты потребовал, чтобы я принес эту проклятую шляпу, и было это совсем недавно, еще и получаса не прошло. Да не мог ты забыть, черт бы тебя побрал!

– А ты уверен, что это нынче было? – скептически вопрошает Брук.

– Ты звонил, Брук! И пригласил меня сюда, и...

– Постой-ка! – Брук рыгает и тут же тянется за бутылкой. – Хлопни-ка винца, и мы это дело обмозгуем. – Он сует мне в руки стакан. – Ты ж опоздал – изволь навестывать.

– Боюсь, за тобой мне уже никак не угнаться.

– Опп, да ты, кажется, расстроен чем-то. – Брук наполняет вином мой стакан.

– Трезв как стекло. Просто симптомы очень похожи.

– Нет, ты расстроен.

– Ничего подобного.

– И чем же ты так расстроен?

С чего это у меня сложилось впечатление, что Брук почти не слушает? И ведь такое уже далеко не в первый раз. Иногда разговариваешь с человеком, и вдруг его охватывает какая-то рассеянность. Как будто не лицо у него вовсе, а маска, к изнанке которой он обычно прижимается, словно ребенок носом к витрине кондитерской. Но когда я с ним разговариваю, пытаюсь обсудить сложный или неинтересный для него вопрос, собеседник отдаляет свое внутреннее «я» от маски и задумывается о чем-нибудь своем. Если воспользоваться аналогией, он снимает ботинки, закидывает ноги на стол, пьет кофе и расслабляется. А потом, набравшись сил и бодрости, неодобрительно кивает и отпускает совершенно неуместное замечание – отголосок его застарелых мыслей. Возможно, дело здесь во мне. Возможно, только я оказываю на людей такой эффект и никто другой на это не способен.

Впрочем, наверное, такая мнительность больше пристала параноику, и, если я отважусь вынести на обсуждение эту тему, сразу выяснится, что вовсе никакой я не феномен, а чуть ли не самое рядовое явление. («Ага, я тоже за собой такое замечал!», «И со мной бывало!», «А ведь думал, что я один такой!»)

Между тем инженерам Бейкеру и Фаулеру удастся наконец встать и надеть пальто. Брук что-то серьезно втолковывает Фаулеру, тот выглядит озадаченным. Затем его лицо проясняется. Он возбужденно отвечает, Брук кивает и возвращается ко мне.

– Буч! – торжественно изрекает он и снимает со спинки дивана свое пальто.

– Что? – переспрашиваю.

– Томми Буч, – надевает пальто Брук. – Это ему понадобилась шляпа.

– Зачем?

– Понятия не имею.

– Ну и где же он? – оглядываю бар.

– Вышел недавно, – застегивает пальто Брук. Позади него пошатываются Фаулер и Бейкер, ждут.

– Вы что, уходите? – задаю совершенно риторический вопрос.

– Долг зовет! – Брук берет меня за руку, склоняется к уху и громко шепчет: – Срочная работенка у миссис Ганновер.

– У миссис... – Я не договариваю – вспомнил. У миссис Ганновер лицензия на содержание борделя. Мне известно, что Брук со товарищи давно протоптали туда дорожку; как я слышал, в этом злачном местечке развлекаются главным образом инженеры. И тут в голову навязчиво лезет целый сонм не слишком тонких аллюзий.

Меня к миссис Ганновер еще не приглашали, к тому же я сам дал понять, что не стремлюсь туда попасть. Сие целомудрие проистекает не из моральных соображений, а из пустого тщеславия, уверил я Брука. Но он, похоже, с тех пор подозревает, что за всеми моими разглазительствованиями о сексе, политике и религии прячется ханжество.

– Как насчет с нами за компанию? – спрашивает Брук.

– Спасибо, нет.

– Хм... Я и не сомневался, – кивает Брук. Снова берет меня за руку, снова чуть наклоняется и шепчет на ухо: – Послушай, Опп, мне не очень удобно просить...

– О чем? – Я смотрю, как инженер Фаулер разговаривает с длинноволосым молодым человеком, который сидит за соседним столиком в тени. Второй молодой человек, напротив него, уснул, уронив голову на стол.

– Это дочка Эррола, – кивает на них Брук.

– Кто?

– Дочка главного инженера Эррола, – шепчет Брук. – Она тут как бы с нами, да только братец ее, видишь, наклюкался и задрых. И если мы сейчас отсюда смоемся, некому будет... Слушай, а ты не можешь с нею... ну посидеть, поговорить, что ли? А?

– Брук, – отвечаю ледяным тоном, – сначала ты мне звонишь в пять утра, потом...

Я не договариваю. При поддержке Фаулера, выражающего всем своим видом нетерпение, Бейкер по синусоиде подходит к Бруку и говорит:

– Брук, может, пойдем, а? Чего-то мне нехорошо...

Инженер Бейкер замолкает – у него явные позывы на рвоту. Раздуваются щеки, он судорожно сглатывает, потом с гримасой на лице кивает на ступеньки, что ведут на этаж ниже.

– Опп, нам пора, – торопливо произносит Брук, подхватывая Бейкера под руку, в то время как Фаулер подхватывает под другую. – До скорого. И заранее спасибо, что за девочкой приглядишь. Извини, но знакомиться самому придется.

Вся троица плетется враскачку мимо меня. Брук сует мне в руки широкополую шляпу. Фаулер тащит к лестнице Бейкера, Брук волочится в кильватере.

– Увижу Томми Буча, спрошу про шляпу, – выкрикивает Брук.

Они неуклюже пробираются среди мебели и других посетителей к лестнице. Я оборачиваюсь к молодому человеку, с которым только что разговаривал Фаулер. Юноша поднимает припухшие от недосыпа глаза и улыбается мне.

Я ошибся. Это не юноша, а девушка. На ней широкие темные брюки и пиджак оригинального фасона, парчовый жилет с чересчур, пожалуй, массивной золотой цепочкой поперек живота, белая хлопковая рубашка. Ворот рубашки расстегнут, с него свисают незавязанные концы черного галстука-бабочки. Туфли тоже черные. Волосы у незнакомки темные, до плеч.

Она сидит в кресле наискось, подобрав ногу под себя. Приподнимает круто изогнутую черную бровь. Я прослеживаю за взглядом девушки до треножника из инженеров, который драматически прокладывает себе путь к лестнице.

– Как считаете, получится у них? – Она слегка наклоняет голову вбок, подпирает кулачком затылок.

– Пожалуй, много бы я на них не поставил.

Она задумчиво кивает и подносит к губам высокий стакан. Глотнув, произносит:

– Пожалуй, я тоже. Прошу прощения, я ведь не знаю вашего имени.

– Меня зовут Джон Опп.

– Эбберлайн Эррол.

– Как поживаете?

Вопрос кажется Эбберлайн Эррол смешным.

– Как хочу, так и поживаю, мистер Опп. А вы?

– Вы, наверное, дочь главного инженера Эррола? – в тон ей отвечаю я и кладу шляпу на край дивана. Если мне повезет, ее кто-нибудь стибрит.

– Не наверное, а точно, – отвечает она. – А вы, мистер Опп, кто по роду занятий? Инженер? – Она указывает длинной, без единого кольца или перстня, кистью на местечко рядом с собой.

Я снимаю пальто, присаживаюсь.

– Нет, я пациент доктора Джойса.

– Ах вот оно что... – медленно кивает она и глядит на меня в упор, что не очень-то распространено в здешнем быту. Глядит, словно на какой-то мудреный механизм, в котором пришла в негодность важная деталь. Лицо у нее молодое, но с мягким, добрым выражением, какое бывает у пожилых женщин; морщин не видно. Глаза маленькие, кожа туго обтягивает скулы и лобную кость. У нее широкий улыбчивый рот, но взгляд мой притягивается не к нему, а к крошечным складочкам кожи под серыми глазами. Складочки эти делают ее взор всепонижающим и насмешливым.

– И что же с вами не так, мистер Опп? – Ее взгляд опускается на мое запястье, но медицинский браслет спрятан под обшлагом.

– Амнезия.

– В самом деле? И давно? – Она не тратит времени на паузы.

– Уже около восьми месяцев. Меня... выловили какие-то рыбаки.

– Да? Кажется, я что-то читала об этом. Вас выудили из моря, как рыбку.

– Да, так мне сказали. А как оно было на самом деле, не помню. Я многое забыл.

– И что, до сих пор не выяснилось, кто вы?

– Нет. По крайней мере, никто из моих родственников или знакомых пока не объявился.

И приметы мои ни с кем из объявленных в розыск не совпадают.

– Хм... Как это, наверное, странно. – Она касается губ пальцем. – Я представляла, что это так интересно и... – пожимает она плечами, – романтично – потерять память. Но, наверное, это жутко утомительно...

У нее довольно изящные, очень темные брови.

– Самое утомительное, но и самое интересное – это лечение. Мой врач верит в толкование снов.

– А вы?

– Пока нет.

– Поверите, если поможет, – кивает она.

– Возможно...

– Но что, – поднимает она палец, – что, если вам придется поверить еще до того, как оно поможет?



– Не уверен, что это согласуется с научными принципами моего замечательного врача.  
– Так ведь если поможет, то какая разница, что там с чем не согласуется?  
– Но ведь если верить без причины в процесс, можно дойти до того, что поверишь без причины в результат.

Мои слова заставляют ее умолкнуть, но ненадолго.

– То есть можно поверить в то, что вас вылечили, хотя на самом деле этого не произошло. Но ведь это же элементарно проверяется: либо к вам вернулась память, либо нет.

– Ну а представим, что я возьму да придумаю все.

– Собственное прошлое придумаете? – говорит она скептически.

– Некоторые люди все время так поступают. – Кажется, я ее поддраживаю, но, произнеся эти слова, невольно задумываюсь над ними.

– Да, но только для того, чтобы обманывать других. Они же наверняка сами знают, что лгут.

– Не думаю, что все так просто. Мне кажется, легче всего обмануть самого себя. Возможно, себя обманывать – это необходимое условие для того, чтобы обманывать других.

– О нет, – категорически возражает она. – Хорошему лжецу необходима отличная память. Чтобы других водить за нос, надо быть умнее их.

– По-вашему, никто и никогда не верил в собственные выдумки?

– Ну, может, верило несколько пациентов психбольниц, но больше – никто. Знаете, по моему, большинство якобы чокнутых, которые выдают себя за других, на самом деле просто разыгрывают больничного персонала.

Какая категоричность! Кажется, я и сам когда-то был столь же резок в суждениях, хоть и не помню, где, когда и по какому поводу.

– Вы, очевидно, думаете, что врачей очень легко дурачить, – говорю.

Она улыбается. У нее безупречные зубы. Я ловлю себя на том, что пытаюсь оценить, охарактеризовать эту женщину. Она увлекает не завлекая, поглощает не заглатывая. Но, возможно, с тем же результатом.

Эбберлайн Эррол кивает:

– Вероятно, легко дурачить тех, кто пытается лечить мозги как мускулы. Скорее всего, таким врачам просто в голову не приходит, что пациенты способны намеренно вводить их в заблуждение.

Вот с этим я бы поспорил. К примеру, доктор Джойс считает делом профессиональной чести не верить до конца всему, что рассказывают пациенты.

– А мне кажется, – говорю, – что хороший психиатр всегда разоблачит пациента-шарлатана. Большинству просто не хватает воображения, чтобы как следует вжиться в роль.

У нее изгибаются брови.

– Возможно, – произносит она, пристально-невидяще глядя мимо меня. – А знаете, мне сейчас детство вспомнилось, когда мы...

В этот момент спавший напротив нее, положив руки на стол, а голову на руки, молодой человек приподнимается, откидывается на спинку стула, зеваает и обводит бар мутным взором. Эбберлайн Эррол оборачивается к нему.

– А, проснулся, – говорит она этому костлявому парню с длинным носом и близко посаженными глазами. – Собрал наконец кворум нейронов?

– Да ладно, Эбби, завязывай стесаться. – Взглядом он добавляет в мой адрес: «А ты не пошел бы на...?» – Лучше добудь водички.

– Милый братец, хоть ты и скотина, но я-то не скотница! – отбρίζει она.

Он тупо рассматривает стол, весь в грязных тарелках и пустых стаканах.

Эбберлайн Эррол глядит на меня:

– Вы-то, конечно, не помните, есть у вас братья или нет?

– Увы и ах.

– Хм... – Она встает и идет к стойке бара.

Парень закрывает глаза и наклоняет стул назад, заставляя его покачиваться на двух ножках. Бар пустеет. Кое-где из-под столов торчат ботинки, свидетельствуя, что алкогольные экскурсии их владельцев в давнюю эпоху четырехногого передвижения пришли к ступорному финишу. Эбберлайн Эррол возвращается с кувшином воды, останавливается возле брата и плещет водой ему на лоб.

Молодой человек падает на пол, ругается, кое-как встает. Она вручает ему кувшин. Он пьет. Она наблюдает за этим со смесью веселья и презрения на лице. Все это время она курит длинную тонкую сигару.

– Мистер Опп, а вы вчера видели пресловутые самолеты? – спрашивает мисс Эррол, глядя не на меня, а на брата.

– Да. А вы?

Она отрицательно качает головой и пускает дым.

– Нет. Мне рассказывали, но я сначала решила, что это розыгрыш.

– А мне они показались вполне настоящими.

Ее брат опустошает и театральным жестом бросает себе за спину кувшин. Он разбивается о столик где-то в сумраке. Эбберлайн Эррол укоризненно качает головой. Молодой человек зевает:

– Устал. Пошли отсюда. А где папаша?

– В клуб ушел. Причем уже давно. Может, он уже дома.

– Ну и ладно. Пошли. – Он встает и направляется к лестнице.

Мисс Эррол глядит на меня и пожимает плечами:

– Извините, мистер Опп, но мне пора.

– Ничего, все в порядке.

– Было приятно с вами поговорить.

– Уверяю вас, это взаимно.

Она оглядывается на брата. Тот стоит на лестничной площадке руки в боки, ждет.

– Ну что ж, – смотрит она на меня, – может, у нас еще будет возможность продолжить беседу.

– Искренне на это надеюсь.

Она все же не спешит уходить. Она стройна, немного взъерошена, курит сигару. Она сгибается в глубоком ироничном поклоне, растопырив руки, пятится. По ее следу клубится серый дым.

Посетители разошлись. В баре «Дисси Питтон» остался в основном персонал. Эти люди гасят лампы, вытирают столы, подметают пол, достают из-под столов бесчувственные тела. Я сижу и допиваю вино. Оно теплое, терпкое, но я ужасно не люблю оставлять недопитые стаканы.

Наконец я встаю и узким коридором из последних непогашенных ламп иду к лестнице.

– Сэр!

Я оборачиваюсь: только что махавший шваброй бармен протягивает ко мне руку. В ней – широкополая шляпа.

– Это ваше. – Он даже встряхивает шляпу, чтобы я не перепутал ее со шваброй.

Я беру ее, заразу. Нисколько не сомневаюсь, что если бы дорожил ею как зеницей ока, следил за ней денно и ночью и боялся оставить ее в этом баре, то ее бы уже давно и след простыл.

В дверях швейцар больше не дремлет. Он прислонил Томми Буча к стене и пытается установить его личность и место жительства. Похоже, инженер Буч не в состоянии издавать какие бы то ни было внятные звуки.

Его лицо приобрело ярко выраженный зеленый оттенок, и швейцару совсем нелегко удерживать моего знакомого в вертикальной позе.

– Сэр, вы знаете этого джентльмена? – спрашивает швейцар.

Я отрицательно качаю головой:

– Впервые вижу. – Сую шляпу между рук швейцара. – Но это – его, он забыл в баре.

– Спасибо, сэр. – Швейцар подносит шляпу к лицу инженера, чтобы тот ее разглядел (или чтобы ее разглядели они оба). – Сэр, смотрите, ваша шляпа.

– Блгдр-рю... – удается выговорить инженеру Бучу, прежде чем содержимое его желудка откочевывает в перевернутый головной убор. Хорошо, что у шляпы широкие поля – удивительно мало брызг пролетает мимо цели.

Я ухожу, охваченный странным ликованием. Неужели Буч получил именно то, что заказывал?

– Отсутствует?

– О, мистер Опп, поверьте, я вам совершенно искренне сочувствую, но доктора действительно нет.

– Но мне...

– Да, мистер Опп, я знаю, вам назначено. У меня и запись есть, вот здесь, видите?

– А в чем дело, собственно?

– Срочное собрание Административного совета первой подкомиссии ветеринарной комиссии. Это крайне важное мероприятие, и вообще у доктора сейчас очень горячие дни. Так много вызовов, знаете ли! Мистер Опп, вам ни в коем случае нельзя принимать это на свой счет.

– А я и не...

– Просто так вышло. Естественно, вся эта административная рутина мало кому по вкусу, но ведь и черную работу кто-то должен делать.

– Да, я...

– Его могли вызвать в любое другое время. Вам просто не повезло.

– Я понимаю...

– Вы ни в коем случае не должны обижаться. Убедительнейше прошу поверить: это просто досадная накладка.

– Да, конечно, я...

– И никакой связи с тем, что мы вчера забыли вам сообщить о переезде клиники. Это чистой воды случайность! С кем угодно могло быть! Просто не повезло именно вам. Клянусь, здесь абсолютно ничего личного.

– Так я...

– Вам не надо принимать это близко к сердцу.

– Я и не...

– Чашечку чая, мистер Опп? Или вы предпочитаете кофе?

Выходя из приемной, вспоминаю вчерашнее богатое событиями путешествие в L-образном лифте и решаю его повторить. Ищу огромное круглое окно и дверь в расположенную напротив него шахту.

Во мне растут досада и раздражение. Я больше часа блуждаю в сумраке под высоким сводом яруса, минуя ниши со слепыми статуями (увековеченных в бледном камне древних бюрократов), проходя под тяжело нависшими флагами (как помпезные паруса из грубой ткани

на мачтах огромного темного корабля). Но круглого окна так и не обнаруживаю. Не нахожу и бородатого старца, и лифта. Зато мне попадаетесь старший клерк. Судя по шевронам, это ветеран, отслужил лет тридцать, не меньше. Он удивленно пялится на меня и отрицательно мотает головой, когда я описываю лифт и седого лифтера.

В конце концов я сдаюсь. Мой врач едва ли похвалит меня за это.

Следующие несколько часов я трачу на хождение по маленьким галереям в незнакомой секции моста, далеко от моих излюбленных мест. Здесь тоже есть экспозиции, но нет экскурсантов, кроме меня. Их и не бывает, судя по обалдевшим лицам служителей. Меня ничто не радует. От всех работ веет усталостью и вырождением, картины – блеклые, статуи – бездушные. Но еще хуже, чем общее убожество экспонатов, на меня действует откровенная извращенность их создателей, словно сговорившихся исказить всеми мыслимыми и немыслимыми способами пропорции человеческой фигуры. Скульпторы придали своим изваянием диковинное сходство с элементами моста. Бедра превратились в кессоны, торсы – в кессоны или несущие трубы, руки и ноги – в напряженные балки и фермы.

Тела сделаны из клепаной стали, покрашены той же бурой краской, что и мост. Трубчатые фермы стали конечностями, срослись в уродливый конгломерат металла и мяса, порождая исключительно кровосмесительные или же онкологические ассоциации. У картин тот же лейт-мотив: на одной мост изображен как шеренга уродливых карликов, которые стоят, взявшись за руки, в кровавой клоаке; другая показывает целостное трубчатое сооружение, но с петляющими, выпирающими через охряную поверхность венами, и из-под каждой заклепки сочится кровь.

Под этой частью моста островок, один из тех, которые поддерживают каждую третью секцию.

Острова схожи только размерами и местоположением. И форма, и история у каждого свои. Некоторые – в червоточинах старых копей и пещер, на других полно разрушающихся бетонных глыб и цилиндрических колодцев, похожих на артиллерийские огневые точки. Отдельные островки хранят на себе руины зданий – не то наземных шахтных построек, не то древних заводов. У большинства есть бухточки или эспланады на мысах, и лишь единицы лишены следов человеческого обитания – это всего лишь комья земли, прячущиеся под травой, кустарником и зелеными водорослями.

Впрочем, у них есть тайна, одна на всех: как они здесь оказались и для чего служили раньше. На первый взгляд это природные образования, но все вместе, лежащие на одной прямой, они выдают себя, и эта неестественная упорядоченность интригует даже сильнее, чем мост, основаниями которому они служат.

Возвращаясь домой на трамвае, бросаю из окна монетку; она блеснит в полете к морю. Кидают монеты и еще двое пассажиров. В моей голове ненадолго возникает абсурдная картина: воды под мостом постепенно заполняются выброшенной мелочью, монетаристские останки растраченных желаний формируют верхний, как на дрожжах растущий слой осадочных пород, и в конце концов к полым стальным костям места подступает монолитная денежная пустыня.

У себя в квартире, прежде чем лечь в постель, я смотрю на человека на больничной койке, вглядываюсь в мутное серое изображение так напряженно и так долго, что сам себя едва не гипнотизирую этим статичным образом. Я врос в вечернюю мглу, мой взор неподвижен, и кажется, я вижу не фосфоресцирующее стекло, а блестящий металл, силюсь прочесть письмена, отчеканенные или вырезанные на шероховатой стальной плите.

Я жду, когда зазвонит телефон.

Я жду, когда вернутся самолеты.

Появляется медсестра, та самая медсестра, опять с металлическим подносом. Чары разрушены, иллюзия экрана как стальной плиты развеяна.

Медсестра готовит шприц, протирает руку больного. Я дрожу, словно это мою кожу холодит спирт. И не только по руке бегут мурашки – по всему телу.

Я спешу выключить телевизор.

## Глава четвертая

А все этат сутчий волшебник да ета он падсунул мине ету как он сказал дамашнюю звирьюшку и типерь ана сидит у миня на плече и весь сутчий день на пралет нисет фсякую ни сусветную хринятину. И нифига я ни магу типерь от делаца от етой праклятой пакосьти у миня на плече патаму мы сней типерь как адно тцелое. Волшебник абищчал она мине памагать будит абищчал она будит гаварить фсякие полезные весщи и все сбудица. Я то думал што он пад разумивал и взо правду полезные весщи а ни ету сутчую болтавню весь день напралет. Етот волшебник миня пад купить пыталса патаму што думал што я иво при контчить сабираюс а я взо правду сабиралса. И он сказал если я ни буду иво убиват он мине дасть эту вот интирестную и полезную дамашнюю звирьюшку и она будит па начам старожить и мине саветы давать полезные на разные случаи жизни. И тада я иму сказал ладна претиль согласи живи давай паглядим чиво она там умеит. А он падходит к шкапу и дастает шкотулку а изниё дастает какую та хринятину глядит на ниё и гаварит при этам какие та магитческие слава. А я за ним слижу штобы он ни папыталса надстроить мине какую нибуть пакосьть а естли папытаица я иму метчём глодку в раз пирирежу. Ничиво таково он ни пытаица а в место етаво дастает такую смишную чтучку в роде кошьки или абизянки тока всю накрытую чорным мехом с клювом и чорными периями на спине и касаглазую ктамуе и сажает иё мине на плечо и гаварит ступай мой малчик сбогом. А я панятно дело ни спишу ухадить патаму што ищцё ни знаю што ета за ффигня у миня возли бошки сидит и диржу метч у ниво возли глодки папрежнему. Гляжу на касую звирьюшку и спрашиваю у ниё где старый пидрила рыживьё держит. А она атвичаит в старым сундуке за ширьмой но ето волшебный сундук загляниш в ниво а он пустой а руку суниш и нащупаиш рыживьё а выниш иво и оно с разу видным станит. Волшебник чуть ни акачурилса я тоже. Праверил всё аказалос как звирьюшка и абищчала и я тада спросил чиво типерь делать. А она гаварит при кончи стараво пирдуна для начяла пака он тебе какунибуть пакосьть ни надстроил. И я тада при шил валшебника но стех пор чортава звирьюшка ни чпво харошсва ни саветуст тока бридятину кисет всякую цёлыми днями.

— ... И разумеется, согласно наставительным правилам новой символогии, выражаемым Большим Арканом, башня означает отступление, ограничение контакта с реальным миром, философскую экстроспекцию. Короче говоря, это не имеет никакого отношения к упоминавшейся мною ранее сугубо инфантильной одержимости фаллической символикой. Действительно, если исключить страдающие непродолимым нравственным запором социумы, можно утверждать, что, когда люди хотят видеть сны о сексе, они и видят сны о сексе. Комбинация карт «La Mine» и «La Tour» в Малом Аркане считается особенно важной, и, если башня называется над шахтой, это имеет сексуальный резонанс с точки зрения предикции, что, казалось бы, вовсе не очевидно, исходя из простого сочетания отступления с боязнью провала, однако...

Поняли типерь чё я имею ввиду? Так и свихнуца не долго. А ведь мне даже ни скавырнуть чортаву сутчёнку патаму што она за миня когтями держица за саживаит поскуда их в самое мясо. Ни магу даже с бить звирьюшку кулаком или камнем патаму што она мертвой хвадкой держица и начинаит арать и дергаца и ругаца и пишчать и у миня ни палучаица ни сбить паскуду ни глодку ей кенжалом про дырьявить.

И все-таки дила май на лад пашли када я с ней встретилса и значица она мине на верно принисла удачу. А я то думал без волшебника ни чиво харошиво сней не выйдит и то сказать я же ни калдун сутчий а простой рубака. И все-таки павторяю дила май пашли на лад.

И я узнал от звирьюшки койкакия новые славечки и значица стал чутотчку абразований. Да я за был упаминуть што када я пытаюс скавырнуть иё со свово плеча или ни кармлю иё она начинаит арать так ис тошно што проста оглохнуть можна и всю ночь арет и спать мине ни даёт.

Норас она ни через чур пражорлива да и удачу мне приносит я плюнул на ние проста и там бытышто будит как-то мы с ней ладим. Еслип только сука наспину мне ни гадила все время...

– ...Между прочим, любопытный факт... хотя ты, конечно, этого не оценишь. И то сказать, когда у человека в мозгу всего одна извилина... а если точнее, всего одна клетка серого вещества... Так вот, внизу дело обстоит совершенно иначе, нежели на этих головокружительных высотах. (Ты заметил, что запыхался? Ну конечно же нет.) Так вот, власть на этих райских пастбищах, на этом воплощенном лоне девственной природы, принадлежит женщинам, а мужчины до конца дней своих остаются ростом с детей.

Снова она йязыком чешит а я уже у самаво верьха сутчей башни и мой метч покрыт кровившей и рука балит иё парезал адин сутчий стражник навходе и я за блудилса в этом дирьмовом лоберинте сриди всех етих проклятых комнатух. Биспакоица натчинаю иза агня каторый я успел гдета за палить патамушта дымом ванияит и я ни хочю сжарица тута заживо нетужки спачибочки. А чортова тфарь опять фее далдонит и мне ни как не паймать старую каралеву патамушто у ниё и магийя и всякая такая ффигня. Вот апять на миня кидайца стражник вреш ни вазьмеш я иво канчаю и пирипрыгиваю чериз иво трупп и прабираюс дальше на верх па сладам увёртливой ветьмы каралевы.

– ...Господи, но какие же все-таки примитивы эти трутни! Менталитет улья – самая настоящая игра в поддавки с высшими позвоночными. Да-да, я согласен, что и к тебе применим этот ярлык, но лишь в отношении физического роста. Заблудился? Ну разумеется. Дым беспокоит? Это вполне естественно. Будь на твоём месте парень посмышленей, он бы разом решил обе проблемы – просто нашел бы, куда дым тянет. Дымит-то снизу, а окон на этом этаже не так уж много. Но у тебя, как мне кажется, нет ни единого шанса сложить два и два. Плохо, когда у человека разум не шустрее накачанного валиумом ленивца. Жаль, что твое сознание не дошло еще в развитии даже до межледникового периода. Хотя, с другой стороны, не всем же быть гигантами мысли. Вероятно, дело тут в катастрофическом искажении генного кода. Все пошло наперекосяк еще в материнской утробе, кровоснабжение работало только на рост мускулатуры, а мозгу досталась порция большого пальца левой ноги или чего-нибудь в этом роде...

Я уже было падумал чё тутто мне и канец но патом заметил куда нахрен сачица дым и на шол етот здравеный льюк ура зашебис! Но ни шутатчное ето дело разбираца чтокчиму када касаглазая тфарьюга так и триштит тибе в ухо.

– ...Кстати, о детях. Как я уже говорила... О, неплохо: мы, похоже, нашли путь на следующий этаж. Мои поздравления! Надеюсь, мы не забудем опустить за собой люк? Отлично, отлично. Продвигаемся! Потом ты научишься завязывать шнурки... скорее связывать их друг с другом, но лиха беда начало. Так о чем я говорила? О детях. Да, внизу всем заправляет так называемый слабый пол. Самцы рождаются с виду нормальными, но потом плохо развиваются и останавливаются примерно на уровне ребенка, начинающего ходить. В сексуальном аспекте они взрослеют, отращивают на теле густую шерсть и даже слегка полнеют, и их гениталии развиваются полностью, но самцы всю жизнь остаются крохами, никогда не вырастают до такой степени, чтобы представлять собой угрозу. Их разум тоже не достигает нормального уровня развития, но... plus ça change; спросите любую женщину, и она подтвердит. Эти симпатичные озорные волосатые затейники используются для осеменения, и, конечно, домашние животные из них просто чудо, но к серьезным взаимоотношениям женщины склонны только между собой, что, на мой взгляд, совершенно правильно и нормально. Помимо всего прочего, женщине для тактильного кворума нужны разом три, а то и четыре самца, чтобы занятия любовью отличались от обычного процесса оплодотворения...

Ну видити эта сутчёнка всё трепица и трепица а ведь еслибы я ни на шол выход на верх она бы дафно паджарилас. Тут кругом всякие сталбы и занавецы и другие весчи а стены зала-тые на вид но энто тока пазалота и проку никакова ни чилавеку ни зверью от неё. Я за балыпим

стулом на памосте ищщу путь на верх и тут на миня кидаяца ищщѣ два здравеных страшника они как ведмеди с чилавечими головами и рычат и ламают всё кругом но я их тоже канчаю а адин хлабысть с болкона и литит вниз и привращаица в малинькае пятныжко но ето не приближает миня к старой стерье каралева.

— ...Бьюсь об заклад, теперь он жалеет, что не учился в свое время летному делу. Вы только посмотрите на этот пейзаж! Холмы и горные кряжи, все эти леса... и реки точно вены, по которым течет ртуть. Просто дух захватывает! Даже будь у нас дыхательные аппараты – все равно бы захватило! Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что необходим дыхательный аппарат. Смерть от кислородного голодания тебе вряд ли грозит. Ты бы наверняка обошелся и парой кислородных молекул в день. Да посмотри на себя, приятель: если превратишься в овощ, это будет повышение в чине!.. Все же надо отдать тебе должное: ты преспокойно разделался с теми наглыми крикливыми хищниками. Ведь им почти удалось меня напугать, но ты не ударил лицом в грязь. Похоже, ты не робкого десятка. Жалко только, мозги подкачали, но ведь нельзя же иметь все на свете? В том числе и способность видеть то, что у тебя под носом. Лично мне кажется, разгадка – в троне. Да, никакого пути отсюда на следующий этаж не наблюдается, но ведь он должен быть, и если б я был монарх, то распорядился бы насчет быстрого и удобного способа эвакуации, на случай если в этом зале вдруг запахнет жареным. Смешно, с каким упорством ты не замечаешь столбик, соединяющий помост с сиденьем. Впрочем, чего еще ожидать от такого непроходимого тупицы?



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.